

АНАТОЛИЙ КЛЕПОВ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВАВИЛОН



Анатолий Клепов

Информационный Вавилон

«Автор»

2026

Клепов А.

Информационный Вавилон / А. Клепов — «Автор», 2026

От автора, чьи шифраторы в 1992 году спасли финансовую систему ЦБ РФ от коллапса и уберегли Россию от разрушения (признание главы ЦБ В. Геращенко), создателя первого в мире криптосмартфона. Все известные книги жанра пишут люди, ничего не знающие о криптографии. Отличие этого романа кардинально: перед вами уникальный триллер от реального криптографа, который оснастил своими шифраторами 64 страны мира. Банковская, медицинская тайна, тайна исповеди? Забудьте. Мы добровольно скормили сетям свои финансы, страхи и диагнозы. Владелец этих баз получит абсолютную власть. «ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВАВИЛОН» — смертельная гонка за душу людей на стыке супертехнологий и древних тайн:— Киберреальность: герой создает абсолютный шифратор, бросая вызов жаждущим тотальной власти.— История: тайны Ватикана и шифры Нострадамуса пугающе точно ложатся на наши дни.— Богословие: где грань между оцифрованной личностью и живой душой? Три ключа. Один замок. Цена ошибки — Ваша свобода.

© Клепов А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ПРОЛОГ	5
ГЛАВА 3. Зеркало пишет наоборот	19
ГЛАВА 5. Рожденная из числа	24
ГЛАВА 7. Город, который пишет наоборот	31
ГЛАВА 8. Натуральная магия	38
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Анатолий Клепов

Информационный Вавилон

ПРОЛОГ

I

Чтобы войти туда, куда не входит почти никто, нужно сначала научиться ждать.

Сергей Клепов понял это ещё три месяца назад, когда отправил первое письмо. Не электронное — настоящее, на бумаге, с печатью университета, как требовали правила. Archivum Apostolicum Vaticanum. Апостольский архив Ватикана. До 2019 года он назывался Секретным — Archivum Secretum, — и, хотя Папа Франциск официально сменил название, чтобы стереть мрачный флёр, в кулуарах истории по-прежнему говорили только так: Секретный. Слово прилипло, как прилипает к коже запах старой бумаги — навсегда.

«Секретный» — не потому, что там прячут заговоры, объяснял себе Сергей, готовясь к поездке. Латинское secretum означало скорее «частный», «отдельный» — это был личный архив Понтифика, недоступный посторонним. Пятьдесят пять погонных километров полок. Двенадцать веков документов. Письма Микеланджело, протоколы суда над Галилеем, послание китайской императрицы на жёлтом шёлке, акт об отлучении Лютера. И где-то среди этих десятков километров — то, ради чего он прилетел.

Но сейчас, стоя перед неприметной дверью, Сергей чувствовал, что слово «секретный» подходит идеально. Потому что всё здесь было обставлено как ритуал посвящения в тайну, открытую немногим.

II

Утро выдалось римским — то есть совершенным. Воздух пах кофе, разогретым камнем и чуть-чуть рекой. Сергей пришёл к воротам Святой Анны, Porta Sant' Anna, ровно к открытию. Это был единственный путь для тех, кто едет не молиться, а работать.

— Documenti, — швейцарский гвардеец у ворот не улыбался.

Многие думают, что гвардейцы в полосатых сине-жёлто-красных мундирах — бутафория для туристов. Сергей знал лучше. Под средневековым костюмом скрывался профессиональный солдат, прошедший швейцарскую армию и курсы антитеррора. Алебарда — для церемоний. А вот холодный, цепкий взгляд, скользнувший по его лицу, рукам, сумке, — это было настоящим.

Сергей протянул паспорт и carta d'ammissione — пропускную грамоту, которую выдали после трёх месяцев переписки, двух рекомендаций и подробного обоснования темы.

— Клепов. Сергей, — прочитал гвардеец, запнувшись на фамилии. Сверился с планшетом — единственной современной вещью в его облике, — кивнул и отступил. — Sempre dritto. Poi a sinistra.

Сергей шагнул за ворота — и Рим остался позади. Не метафорически. Буквально. Шум скутеров, голоса туристов, гудки — всё отрезало ножом. Он оказался в другом государстве. Самом маленьком в мире. И самом закрытом.

III

Путь к архиву — это путь вглубь.

Он шёл мимо казарм гвардии, мимо аптеки Ватикана, мимо служебных зданий песочного цвета, во двор Бельведера. Туристские потоки текли совсем рядом, к Сикстинской капелле, — но сюда, в рабочую плоть города-государства, их не пускали. Вход в архив он едва не пропустил:

никакой вывески, никаких золотых букв. Просто дверь и маленькая латунная табличка, которую надо искать глазами. Archivio. И всё. Те, кому нужно, знают. Остальным знать незачем.

Внутри встретила прохлада и безмолвие особого свойства — плотное, как вата. Так тихо бывает лишь там, где толщина стен измеряется метрами. Привратник — пожилой человек в строгом тёмном костюме, больше похожий на дипломата, чем на вахтёра, — снова потребовал документы. И начался настоящий досмотр.

Сергей знал правила назубок. Нарушение любого означало мгновенное и пожизненное изгнание, без права возврата.

Сумку — в запирающийся шкафчик, armadietto, у входа. В читальный зал её не проносят. Верхнюю одежду — туда же. Никаких чемоданчиков, тубусов, своих папок.

Никаких ручек. Ни перьевых, ни шариковых, ни гелевых — никаких. Одна капля чернил на документе, которому семьсот лет, — и утрата невозполнима. Писать разрешалось только простым карандашом. Сергей купил три — мягкие, заточенные. Привратник осмотрел их так внимательно, будто проверял, не спрятано ли в графите что-то ещё.

Ни еды, ни воды, ни жвачки. Телефон — выключить и сдать. Фотоаппарат — только по особому разрешению, которое выдают единицам и не на все фонды. У Сергея оно было — он бился за него отдельно, и далось оно труднее всего.

Но главное правило Сергей усвоил ещё в прошлый приезд, и оно поражало непосвящённых сильнее всего.

— На стол, синьор, — негромко напомнил привратник, — нельзя класть ничего своего. Только то, что выдадим мы.

В читальном зале и хранилищах стояли особые столы. Поверхность каждого — не просто дерево: под ней, в столешнице, скрывались точные весы, тензодатчики. Любой предмет, положенный на стол, регистрировался по весу. Когда тебе выдают манускрипт, его взвешивают до грамма — и взвесят снова, когда ты его сдашь. Если на стол ляжет что-то постороннее — твой блокнот, твоя рука с зажатым в ней листком, лишний предмет, — система это видит. А если вес выданного документа на выходе хоть на грамм не совпадёт со входом... Сергей слышал историю про вырванную из кодекса миниатюру: вес страницы изменился на доли грамма, и человека взяли прямо у выхода. Поэтому здесь не клали на стол даже собственный карандаш дольше необходимого. Стол принадлежал не тебе. Стол всё помнил.

Привратник выдал ему прозрачную пластиковую папку для немногих разрешённых рабочих выписок, провёл через рамку металлодетектора — та пискнула на ключи, Сергей выложил их, прошёл снова, тишина, — и протянул пару тонких белых хлопковых перчаток.

— Для манускриптов до восемнадцатого века. Без перчаток не прикасаться. Никогда. — И, наклонившись чуть ближе, добавил тише, с почти отеческой интонацией: — Здесь нельзя торопиться, синьор. Документы не любят спешки. И не любят жадных глаз. Берите по одному. Читайте медленно. Архив сам решит, что вам показать.

Сергей принял это за поэтическую вольность старого служителя. Позже он вспомнит эти слова совсем иначе.

IV

Большинство думает, что архив — это зал с книгами. Сергей знал правду: зал, куда пускают исследователей, — лишь крохотная верхушка. Сам архив уходит вниз, под землю.

Полвека назад, когда полук стало катастрофически не хватать, под двором Бельведера выкопали гигантское двухъярусное бетонное хранилище — его прозвали Il Bunker, Бункер. Сергея однажды, в виде огромного исключения и под присмотром Маттео, провели туда. И это зрелище он не забудет до смерти.

Вниз вёл узкий служебный лифт и металлическая лестница. Воздух менялся с каждым метром спуска — становился суше, ровнее, мертвее. Здесь круглые сутки работал климат-кон-

троль, державший постоянную температуру и влажность: бумага, пергамент, шёлк бояться перепадов сильнее, чем огня. Под землёй не было ни одного окна — дневной свет губителен для чернил.

И там, в подземном бетонном чреве, тянулись они — пятьдесят с лишним километров полок. Серые металлические стеллажи, *compactus*, — передвижные, сдвинутые вплотную друг к другу, чтобы экономить место. Чтобы добраться до нужного ряда, крутишь тяжёлое колесо-штурвал на торце стеллажа, и многотонные секции с тихим скрежетом разъезжаются, открывая проход — узкий коридор между стенами из коробок и кодексов. Стоишь в этой щели, а над тобой и вокруг — века. Письма императоров. Буллы Пап. Дела инквизиции. Сергей помнил это физическое, почти головокружительное чувство: ты внутри спрессованной памяти человечества, и если стеллажи сейчас сомкнутся, тебя не найдут никогда.

Над землёй, в исторических залах дворца, было иначе — там память выставлена напоказ: высокие потолки, потускневшие фрески, бесконечные ящички каталогов, многие из которых не оцифрованы и существуют в единственном экземпляре, написанные от руки монахами-архивистами столетие назад. Чтобы найти документ в этом лабиринте, нужно искусство; чтобы получить его — терпение. Заказ. Ожидание. Иногда час. Иногда отказ: *non consultabile*. Без объяснений.

V

Читальный зал порастил его не роскошью — суровостью. Длинное помещение, ряды простых столов с зелёными лампами. Под потолком — фрески сцен передачи Папам великих даров. Десятка полтора исследователей со всего мира. Седой японец с лупой над свитком. Женщина в очках, быстро строчившая карандашом. Священник, листавший фолиант с осторожностью сапёра. Все молчали. Слышен был только шелест страниц — сухой, шепчущий звук, будто сам архив дышал.

Сергей подошёл к стойке выдачи. За ней сидел тот, кого он ждал.

— Серджо! — отец Маттео поднялся навстречу, круглое лицо расплылось в улыбке. Они дружили пятнадцать лет — со времён, когда оба аспирантами рылись в библиотеках Болоньи. Теперь Маттео служил здесь одним из *scrittori* — учёных-архивистов, хранителей. Без его протекции Сергей не получил бы доступ и за десять лет.

— Тише, — шепнул Сергей, обнимая друга. — Нас отлучат за нарушение тишины.

— В моём зале я решаю, кого отлучать, — так же шёпотом, весело ответил Маттео. И тут же посерьёзnel. — Я нашёл больше, чем ты заказывал. В фонде, которого как бы нет. *Fondo Gesuitico*. Иезуитский фонд. Часть его не разобрана с тех пор, как орден распустили в восемнадцатом веке, а потом восстановили. Когда я искал внизу твои бумаги по истории какао, я наткнулся на одну вещь. Она лежала не на своём месте — будто кто-то спрятал её среди счетов за поставки сахара. И рядом — ещё стопка: счета, какие-то листы, один совсем странный, весь в неведомых значках, будто бредовый травник. Но тебе нужен был вот этот кодекс.

Сергей почувствовал знакомый холодок предвкушения — то, ради чего он и жил все эти годы вопреки основной службе.

— Что за вещь?

— Сам посмотри. — Маттео огляделся, понизил голос. — Я положил её в малый зал. Тебе с фотопропуском туда можно — я и на этот кодекс выправил тебе допуск, всё по правилам. Я сказал, ты работаешь с хрупким документом, нужна тишина. Иди. Я принесу остальное позже — мне надо спуститься в Бункер, уточнить по каталогу. — Он вдруг посмотрел на друга странно, серьёзно. — И... будь осторожен с этой штукой, Серджо. Я не суеверен, ты знаешь. Но когда я её читал, у меня было... — Он покачал головой, не найдя слов. — Ладно. Иди.

VI

Малый зал был ещё тише большого — если такое возможно. Комната без окон, освещённая одной настольной лампой. Один стол — тот самый, с весами под столешницей. Один стул. Войлочная подставка-leggio для манускрипта, чтобы не ломать переплёт. И безмолвие — абсолютное, могильное, в котором Сергей слышал собственное сердце.

На подставке лежал тонкий кодекс. Рядом — карточка с весом, проставленным рукой Маттео: документ взвесили перед выдачей. Сергей знал: ничего своего на этот стол класть нельзя. Только кодекс. Только то, что выдали.

Он надел перчатки. Хлопок приглушил чувствительность пальцев, и прикосновение к древней коже переплёта вышло особенно осторожным, почти благоговейным. Кодекс невелик — не больше тридцати листов в потрескавшейся телячьей коже, потемневшей до цвета горького шоколада. Ни названия, ни тиснения. Только в углу обложки — едва различимый оттиск: монограмма IHS в лучах. Печать Общества Иисуса. Иезуиты.

Он раскрыл его медленно, поддерживая страницы, как учили, — не разводя переплёт шире, чем позволяла подставка. И, увидев почерк на первом листе, перестал дышать.

Он узнал бы эту руку среди тысячи. Двадцать лет Сергей Клепов читал чужие шифры — это была его служба, его ремесло; а рукописи Возрождения, тайны прошлого оставались страстью, которой он отдавал всё свободное время, исписав простыми карандашами горы блокнотов в архивах всей Европы. И эта манера — мелкая, бисерная, с наклоном влево, будто слова бежали от пишущего, — была знакома до боли.

Мишель де Нотрдам. Нострадамус.

— Не может быть, — прошептал он, и голос показался чужим в мёртвой тишине.

Текст — на смеси старофранцузского, латыни и чего-то ещё, зашифрованного между строк. Но первая страница читалась почти открыто, словно автор хотел, чтобы её нашли. Словно ждал — четыреста пятьдесят лет — именно того, кто сядет за этот стол.

Сергей склонился ближе и беззвучно зашевелил губами:

«Тот, кто вкусит сей тёмный нектар, приготовленный по сему уставу, отверзет око духа. И увидит он сокрытое во времени — грядущее, как видел его я. Ибо напиток сей, из зёрен заморских, отворяет врата прозрения, кои Господь затворил после грехопадения. Берегись же сего дара: первым он покажет тебе не славу и не любовь, но лица предателей твоих...»

Лица предателей твоих. Что-то в этих словах отозвалось неприятным эхом, и он не понял почему.

Зёрна заморские. В середине шестнадцатого века? Какао пришло в Европу через испанцев лишь в начале столетия и долго оставалось диковинкой при дворах. Нострадамус умер в 1566-м. Возможно ли, что он знал о шоколаде? Пробовал? Использовал?

— Шоколад, — выдохнул Сергей.

Нелепость. Безумие. И всё же рука Нострадамуса выводила дальше — рецепт. Пропорции. Ингредиенты, зашифрованные так, что прямой перевод давал бессмыслицу: «слеза севера», «кость святого», «дыхание полудня». Метафоры. Загадки. Нужен был ключ.

Он перевернул лист — осторожно, придерживая дыхание, — и тут оно случилось впервые.

Холод. Короткий, острый, между лопаток. Будто кто-то стоял за спиной и смотрел в затылок.

Он обернулся. Комната пуста. Дверь закрыта. Только лампа чуть слышно гудела, и тень подставки лежала на стене длинным неровным пятном. Никого. Маттео ушёл в Бункер, а сюда без особого пропуска не входят.

«Нервы, — сказал себе Сергей. — Разница часовых поясов и кофе натошак».

Но холод не уходил. И впервые за годы рационального, выверенного по сноскам существования он поймал себя на странном ощущении, поднявшемся из глубины, минуя разум:

что за этой находкой кто-то уже идёт. Что он не первый. Что слишком уж удачно Маттео «случайно» наткнулся на спрятанный кодекс, слишком легко открылись сегодня двери. Он отогнал мысль усилием воли. Криптограф не верит в предчувствия. Криптограф верит в факты.

И вернулся к последней странице. Почерк Нострадамуса здесь менялся — торопливее, нервнее, будто писали в страхе. А в самом низу, на полях, другими чернилами и более поздней рукой — кто-то из иезуитов? — была приписка. Сергей склонился к самому листу:

«Casanova. Debauve. Тёмный близнец сего рецепта — для тех, кто желает не видеть, но владеть; не прозревать, но ослеплять. Светлый отверзает око. Тёмный его закрывает, даруя взамен власть над сердцами. Орден хранит оба. Берегись второго».

— Тёмный близнец, — повторил он одними губами.

Что это значило? Второй рецепт? При чём тут Казанова — авантюрист, живший двумя веками позже? И что за Debauve? Любопытство потянуло его в новую бездну — и он заставил себя остановиться. Не сейчас. Одна тайна за раз. Перед ним лежал свет — рецепт прозрения, величайшая находка его жизни. Тьма подождёт. Он быстро сфотографировал приписку — едва осознавая зачем, повинаясь скорее инстинкту, — и закрыл её в дальнем уголке памяти. Заодно, не вставая, щёлкнул и тот странный лист в неведомых значках, что Маттео оставил рядом, — на всякий случай, как всегда.

Дверь за спиной скрипнула.

Сергей вздрогнул — слишком резко для человека, которому нечего скрывать. Слишком резко даже для криптографа, привыкшего к чужим тайнам.

— Простите. Я напугала?

VII

Голос был мягким, с тёплым итальянским акцентом, превращавшим русские слова в маленькую музыку. В дверях стояла женщина лет тридцати. Тёмные волосы собраны небрежно, несколько прядей выбились. Простая, но безупречная одежда. В руках — папка. Кофе она держала за порогом: знала, что внутрь нельзя.

— Лючия Конти. — Она шагнула в круг света лампы, и Сергей увидел её глаза — цвета крепкого эспresso, с золотистыми искрами. — Меня прислали из канцелярии. Синьору Клеопову нужен переводчик со старыми диалектами — старофранцузский, латынь — и сопровождение в поездке по архивам Италии. Канцелярия уже отправила в аббатство письмо: вас там ждут как исследователя. Ведь вы не остановитесь на этом? — Быстрый взгляд на кодекс. — Такие находки всегда ведут дальше.

Сергей замер.

Он не подавал заявку на переводчика. Её подавал Маттео — и то лишь вчера поздно вечером, когда канцелярия уже не работала. Откуда у канцелярии время найти, оформить и прислать сопровождающего к утру? И откуда она знает, что находка «ведёт дальше»? Он сам ещё не решил.

«Совпадение, — сказал он себе. — У Маттео тут везде знакомые».

Но холодок между лопаток вернулся — тот же, что минуту назад.

— Я ещё не решил, нужен ли мне сопровождающий, — медленно сказал он.

— Конечно. Решите. — Лючия чуть склонила голову. — Но позвольте помочь прямо сейчас. — Она кивнула на страницу. — Вы застряли на третьей строке снизу. «Lume de la matina» — переводите как «утренний свет». Но в провансальском, на котором иногда писал Нострадамус, это идиома. Не свет. «Первый проблеск понимания». Озарение.

Сергей уставился на неё. Она была права. Он действительно застрял именно на этой строке и перевёл её неверно. Но как она увидела это от двери — через всю комнату, вверх ногами, на документе, который якобы видит впервые?

— Откуда вы...

— У меня дар, — сказала Лючия и засмеялась, легко, обезоруживающе. — К языкам, синьор Клепов. Только к языкам.

И на одну ускользающую долю секунды — пока он смотрел на её смеющееся лицо в жёлтом свете лампы — Сергею почудилось нечто иррациональное, от чего внутри всё похолодело: будто перед ним не лицо живой женщины, а красивая, искусно нарисованная маска. И за прорезями этой маски — другие глаза. Чужие. Холодные. Изучающие.

Он моргнул. Наваждение исчезло. Просто Лючия — улыбающаяся, живая, чуть смущённая его молчанием.

— С вами всё хорошо? Вы побледнели.

— Архивная пыль, — пробормотал он. — И недосып.

— Тогда вам точно нужен сопровождающий, — мягко сказала она. — Кто-то должен следить, чтобы великий исследователь ел и спал, а не только говорил с призраками Нострадамуса.

Где-то в недрах Ватикана глухо ударил колокол, отбивая час. Сухой шелест страниц в большом зале на миг стих, будто все исследователи разом подняли головы, — и возобновился. А в той части души Сергея, которую он привык не слушать, что-то тихо и совершенно ясно произнесло, без всякого пафоса:

Берегись второго рецепта. И той, что нашла дорогу к твоему столу.

Он не услышал. Пока ещё — не услышал.

— Когда выезжаем? — спросил он, бережно закрывая кодекс и сверяясь взглядом с карточкой веса. — Есть одно аббатство. Фраттоккье. Думаю, начать стоит оттуда.

— Andiamo, — кивнула Лючия.

ГЛАВА

1.

Аббатство Фраттоккье

I. Дорога и правило

Лючия вела машину так, как другие женщины носят дорогое платье, — не задумываясь, всем телом зная, что оно сидит идеально.

Сергей смотрел на её руки на руле и ненавидел себя за этот взгляд.

Двадцать лет он учил одно правило: не доверяй тому, что приятно. Приятное — это приманка. Криптограф знает — самый красивый ключ чаще всего поддельный. Самая стройная гипотеза — ловушка. Он построил на этом всю карьеру и, кажется, угробил две попытки на семейную жизнь. И вот теперь сидел в чужом автомобиле, на чужой дороге, а сердце стучало против всех его правил — глупо и часто, как у мальчишки.

«Прекрати, — приказал он себе. — Думай как профессионал».

А профессионал твердил неприятное.

Считай факты. Она появилась через двенадцать часов после того, как Маттео подал заявку, — ночью, когда канцелярия спит. Она знала про кофе без сахара. Она читает по-провансальски — на мёртвом языке, которым писал твой объект. Она родом из города, где этот объект умер. Она угадывает твои мысли раньше тебя самого.

В его ремесле это называли не совпадением. Это называли легендой — биографией, сшитой точно под цель. Под него.

Сергей сглотнул.

— Вы молчите уже двадцать минут, — сказала Лючия, не отрывая глаз от дороги. — У русских это либо влюблённость, либо подозрение. У вас что?

Он вздрогнул. Снова — слишком точно.

— Усталость, — солгал он.

— А-а. — Она едва заметно улыбнулась. — Самый удобный ответ. Им можно прикрыть и первое, и второе.

И тут Сергей понял, чего боится по-настоящему. Не того, что она ложёт. А того, что ловить её на лжи ему не хочется. Что какая-то часть его — усталая от ума и одиночества — готова закрыть глаза. И эта готовность пугала сильнее любой слезки.

За окном плыли кипарисы, выстроенные вдоль холмов чёрными восклицательными знаками.

— Сбавьте здесь, — попросил он, сверяясь с картой. — Кажется, поворот.

Лючия притормозила — и вдруг резко вильнула, объезжая что-то на дороге. Сергея качнуло.

— Ёжик, — виновато сказала она. И покраснела. По-настоящему — пятнами, до шеи, как краснеют дети, застигнутые за чем-то стыдным. — Простите. Глупо. Я с детства не могу... если на дороге кто-то живой. Отец смеялся — говорил, из меня выйдет плохой водитель и хорошая монахиня.

Она отвернулась, явно злясь на себя за эту слабость.

И Сергей вдруг поймал себя на том, что улыбается — впервые за весь день искренне. Потому что вот этого, этой нелепой краски на щеках и стыда за собственную мягкость, подделывать было нельзя. Легенду шьют из фактов, из языков и биографий. Но не из ежа на просёлочной дороге. Не из детского, неудобного, выдающего тебя с головой милосердия.

«Может, я всё-таки ошибаюсь, — подумал он, и сердце глупо обрадовалось. — Может, я просто старый параноик, который разучился верить людям».

Он отвернулся к кипарисам и впервые за дорогу задышал ровнее.

II. Аббатство пчёл

Аббатство возникло внезапно — как возникает в Италии всё древнее: едешь среди обычных виноградников, лениво шуришься на солнце, и вдруг за рядом чёрных пиний встаёт стена медового камня, простоявшая здесь дольше, чем существует твоя страна.

Они проехали Субиако час назад — настоящий, открыточный, с автобусами и японцами у знаменитого Сан-Бенедетто, что висит на скале над ущельем. Лючия даже не сбавила там ход.

— А нам не туда? — спросил Сергей, кивнув на указатели.

— Туда возят всех, — обронила она. — А нас ждут там, куда не возят.

И свернула на просёлок, которого не было на карте.

Сергей вышел из машины. Горячий воздух ударил в лицо запахом нагретого тимьяна, пыли и чего-то ещё — еле уловимого, сладковато-горького, словно где-то рядом жгли смолу или старый ладан. Цикады надрывались оглушительно, как помехи в радиоэфире, и вдруг разом смолкли — все, до единой, будто кто-то повернул выключатель. В наступившей тишине стало слышно, как поскрипывает на ветру ржавая цепь колодца — и как где-то под землёй, очень тихо, журчит вода.

Сергей задрал голову и впервые увидел его целиком.

Аббатство Санта-Мария-делле-Фраттоккье не было похоже ни на одно аббатство, что он видел прежде, — а видел он их немало. Оно не парило, как готические соборы Севера, и не давило роскошью, как римские базилики. Оно вросло в землю — приземистое, тяжёлое, звериное, как изготовившийся к прыжку лев. Стены сложили из двух камней: золотистого травертина и чёрного вулканического туфа, и за восемь веков они перемешались полосами так, что издали казалось — здание полосатое, как шкура какого-то библейского зверя. Полукруглые романские арки. Узкие окна-бойницы — монастырь строили в смутный век, и молиться здесь умели, держа меч под рукой.

Но не это заставило Сергея замереть.

Над входным порталом, в полукруглом поле-люнете, темнела резьба, какой он не встречал ни в одном справочнике. Не Христос, не Богородица, не привычные святые. Пчёлы. Десятки каменных пчёл, вырезанных так живо, что в полуденном мареве они словно шевели-

лись, ползли по камню. А в центре роя — фигура монаха с воздетыми руками, и из его раскрытого рта вылетал, обращаясь в камень, целый рой.

— Святой Амброджо? — пробормотал Сергей сам себе. Покровитель пчеловодов, в чьи уста, по преданию, в младенчестве сел рой и не ужалил, предвещая «медовую сладость» речей.

— Нет, — раздался голос за спиной. — Это наш блаженный Джероламо. Тот самый, чьи бумаги вы ищете.

Сергей обернулся.

В тени портала стоял настоятель — крошечный старик с лицом, похожим на печёное яблоко, и неожиданно молодыми, ясными глазами. Отец Бенедетто.

— Туристы сюда не доезжают, — сказал старик. — В путеводителях нас нет, и слава богу. Там, наверху, у Сан-Бенедетто, — розы без шипов да открытки. А мы — старый скит. Грангия. Нас и епархия-то полузабыла. Так спокойнее. А вы смотрите на пчёл. Все, кто приходит впервые, смотрят на пчёл. — Он улыбнулся беззубым ртом. — Хотите услышать то, чего вам не расскажут нигде?

И, не дожидаясь ответа, повёл их внутрь.

III. Легенда первая — о пчёлах и нетленном теле

— Брат Джероламо пришёл к нам пятьсот лет назад, — заговорил настоятель, и голос его в гулком нефе зазвучал глуше, древнее. — Уже стариком. Был он аптекарь, травник, знал языки, которых здесь никто не понимал, и привёз с собой сундук бумаг да странные семена в холщовых мешочках. Монахи его сторонились: шептали, будто водил он дружбу с каким-то французским звездочётом, что предсказывал будущее. — Старик хитро глянул на Сергея. — Но я вижу, вам это имя знакомо.

Сергей промолчал, чувствуя, как холодеют ладони.

— Так вот. — Отец Бенедетто остановился перед боковым алтарём. — Когда Джероламо умер, случилось то, о чём не пишут даже в монастырской хронике, — только передают из уст в уста. Тело его не стали хоронить сразу: стояла жара, ждали епископа из Рима. Положили в нижней крипте, на камне. А наутро братья спустились — и обомлели. Всё тело старика покрывали пчёлы. Живой золотой панцирь. Они не жалили, не улетали — сидели плотно, как кольчуга, и тихо гудели. И запах... — старик прикрыл глаза, — запах стоял не тлена, а мёда и роз. Девять дней пчёлы стерегли тело. На десятый поднялись разом, вылетели в окно крипты — и больше их никто не видел. А тело осталось нетленным. Лежит и поныне.

— Поныне? — переспросила Лючия. Впервые за день в её голосе Сергей расслышал что-то настоящее — не игру, а живое, детское изумление.

— Идёмте. Покажу. Если не боитесь.

IV. Крипта блаженного и тайный родник

Они спустились в нижнюю крипту — ещё глубже, чем подземная библиотека, по узкой витой лестнице, стёртой подошвами тридцати поколений. Воздух здесь был холоден и влажен, и тот же сладковато-горький запах — мёда, роз, ладана — сделался гуще, осязаемее. И всё отчётливее слышалось то, что Сергей уловил ещё наверху: журчание воды.

— Вы слышите? — спросил он.

— Слышу, — кивнул старик. — Это он. Наш источник. Сейчас.

Крипта открылась перед ними — низкая, сводчатая, древнее всего, что Сергей видел сегодня. И в самом её центре, в выдолбленной прямо в скале чаше, тихо бил родник. Вода поднималась из чёрной глубины беззвучными толчками, переливалась через край каменной чаши и уходила в узкую щель в полу, чтобы пропасть где-то в недрах холма. Над водой стелился еле заметный пар, и в свете лампы капли на сводах вспыхивали, как россыпь монет.

— Fons Hieronymi, — тихо сказал настоятель. — Источник Джероламо. Тайный родник. О нём нет ни в одной книге — только в нашей памяти. Когда старик пришёл сюда умирать, воды здесь не было: сухая яма, и всё. А в ночь его смерти — забил. Сам собой. С тех пор не иссякал ни в одну засуху, даже когда пересыхали все колодцы в округе. — Старик зачерпнул ладонью, отпил. — Вода тёплая. Понимаете? Тёплая, как слеза. И солёная — чуть-чуть. Будто земля плачет.

Сергей опустил на колено и тоже коснулся воды. Она и вправду была тёплой — неестественно, для подземелья, тёплой. И на языке остался слабый солоноватый привкус — и тот же, неуловимый, аромат роз.

«Слеза севера», — снова мелькнуло у него в голове. И тут же другая мысль, холодная, профессиональная: рецепт. Если первый ингредиент — вода, то не любая. Эта.

— Люди верят, — продолжал старик, — что эта вода показывает правду. Кто посмотрит в чашу с чистым сердцем — увидит своё отражение. А кто пришёл со злым умыслом или с ложью на душе — не увидит ничего. Чёрную воду, и всё.

И тут Сергей сделал то, чему учился двадцать лет. Он не стал смотреть в воду сам.

Он посмотрел на Люцию.

Она стояла на коленях у чаши, склонившись над тёмной водой, и лицо её отражалось в ней — ясное, живое, чуть испуганное. Отражалось. Чётко. Сергей и сам не знал, чего ждал, — но выдохнул с облегчением, которого устыдился.

А Люция вдруг тихо сказала, не поднимая глаз:

— Моя мать возила меня к такому источнику. В детстве. Я долго болела, и она верила... — Люция осеклась, словно сказала лишнее. — Глупости. Простите. Вода просто вода.

Но Сергей уже видел: на её ресницах блеснуло. По-настоящему. И эта вторая, непрощенная слабость — после ежа на дороге — окончательно его обезоружила.

«Нет, — подумал он почти с отчаянием. — Не может человек так играть. Слезы по матери не подделать».

И всё же холодный голос внутри, тот, что спас ему жизнь дважды, не умолкал: а вдруг именно на это и расчёт?

V. Нетленный

В дальней нише, за кованой решёткой, в стеклянном саркофаге, лежал монах.

Сергей подошёл вплотную — и почувствовал, как по спине пробежал озноб. Тело брата Джероламо не истлело. Кожа цвета старого пергамента туго обтягивала скулы, руки были сложены на груди, и в них — высохшая ветвь чего-то, отдалённо похожего на лавр. Но самым жутким было лицо. На губах мертвеца застыла улыбка. Не оскал высохших мумий — а тихая, всезнающая улыбка человека, которому открылось то, чего живым видеть не дано.

— Он улыбается уже пятьсот лет, — тихо сказал настоятель. — Реликвия не признана Ватиканом. Трижды приезжали комиссии. Трижды уезжали в молчании. Один кардинал, говорят, после этой крипты отказался от сана и ушёл в затворники. А простой народ ходит сюда тайком — лечиться. Кладут под решётку записки с просьбами. Особенно те, кто... — старик помедлил, — кто хочет увидеть будущее. Или, наоборот, отчаянно хочет его не знать.

Сергей опустил взгляд. У подножия саркофага, в щелях решётки, белели свёрнутые бумажки — десятки, сотни записок.

И вдруг он заметил среди пожелтевших, истлевших клочков одну записку — совсем свежую. Белую. Недавнюю.

Он не успел её разглядеть.

— А вот этого, — резко сказал отец Бенедетто, и в голосе старика лязгнул металл, — трогать нельзя. Чужие просьбы не читают, синьор. Это всё равно что вскрыть чужое письмо.

— Он посмотрел на Сергея в упор. — Хотя вы, я слышал, как раз по этой части — читать чужие письма?

У Сергея пересохло во рту. Откуда старик знает его ремесло? В письме из Ватикана значилось лишь «исследователь».

VI. Камень, что плачет

Настоятель повёл их к дальней стене, где из тёмного туфа выступал гладкий, отполированный до блеска валун.

— А это, — сказал он, — родной брат нашего источника. *Pietra che piange*. Камень, который плачет. Раз в год, в ночь смерти блаженного, с тринадцатого на четырнадцатое июля, по нему стекают капли — те же, тёплые и солёные. Учёные говорят: конденсат, влажность от родника. — Старик пожал плечами. — Может, и так. Только конденсат не выбирает себе одну ночь в году. И не пахнет розами.

Сергей коснулся камня. Сухой и холодный. И всё же под пальцами — странная, едва уловимая вибрация, будто глубоко внутри что-то жило. Будто там, в толще камня, пульсировала та же тёплая вода.

Он отдёрнул руку, словно обжёгся.

VII. То, чего нельзя считать

Уже выходя, Сергей заметил странность: в нефе было тринадцать колонн, и тринадцатая, в самом тёмном углу, стояла словно лишняя — кривая, врезанная позже и грубее остальных.

— Не считайте их, — спокойно сказал настоятель, не оборачиваясь. — Дурная примета. Их всегда выходит то двенадцать, то тринадцать, то четырнадцать — никто дважды не насчитал одинаково. Говорят, тринадцатую поставил сам Джероламо. И говорят, — старик понизил голос, — что за ней он что-то замуровал. Не бумаги — предмет. Брат Паоло называл его «оком». Плоский, вроде диска, с прорезями, а лицом — как зеркало, гладкий до черноты. Без него, мол, писанное блаженного не прочесть: сколько ни бейся над буквами, они молчат. Наложись на страницу, глянешь в отражённое — и слова сами станут в ряд. Ключ, а не клад. Так Паоло сказывал. Мы не трогаем. Боимся.

Сергей и Лючия переглянулись. И в этом взгляде — впервые — не было ни флирта, ни игры. Было одно, общее на двоих: они оба услышали слово «ключ».

— Святой отец, — осторожно начал Сергей, — а эту колонну... кто-нибудь пытался...

— Десять лет назад, — перебил старик, и лицо его потемнело. — Тот господин. Француз. Или швейцарец. Он тоже спросил про колонну. В ту же ночь у нас пропала тетрадь блаженного. А наутро... — отец Бенедетто перекрестился, — наутро заплакал камень. Не в июле. В первый и единственный раз — не в свою ночь. А родник в ту ночь стал чёрным. Старый брат Паоло сказал: «Джероламо плачет, у него украли». Через неделю брат Паоло умер во сне. С улыбкой. С точно такой же, как у того, в саркофаге. — Старик помолчал. — А только бумаги те вору не впрок. Без ока — что вода в решетке. Читал он их, читал — да так, видать, и не вычитал.

Старик медленно повернулся к ним.

— И запомните, синьор: то, что он спрятал, — не про вашу жизнь и не про мою. Это про всех. Потому и берегли пятьсот лет. Так что вы ищите на самом деле, синьор криптограф?

Слово повисло в холодном воздухе крипты, как удар колокола.

VIII. Письмо

Библиотеку настоятель отпер неохотно — будто отдавал ключи от собственной совести. Она пряталась этажом выше крипты, в сухом сводчатом подвале. Вдоль стен чернели дубовые шкафы; в дальнем углу темнел окованный железом ларь.

— Бумаги Джероламо — там. Что осталось после того визита. Заприте, когда закончите; ключ под Распятием. А я пойду искать визитку того господина.

Шаги его стихли наверху.

Они остались вдвоём в круге жёлтого света масляной лампы.

Сергей опустил на колени, поднял тяжёлую крышку. Пальцы сами вспомнили выучку: касайся бережно, как касаются спящего. Пропавшей тетради не было. Но почти сразу пальцы наткнулись на сложенный вчетверо лист.

Он развернул его — и задохнулся.

Бисерный почерк. Наклон влево. Слова, словно убегающие от пишущего.

Рука Нострадамуса.

Двадцать лет Сергей расшифровывал чужие тайны — от шифров кардиналов до радиogramм исчезнувших агентов. Он узнавал руку человека, как другие узнают голос. И эту руку не спутал бы ни с какой другой.

— Лючия, — голос сел. — Подойдите. Это его письмо.

Она опустилась рядом — так близко, что он ощутил тепло её плеча и слабый, горьковато-сладкий запах волос, похожий на какао. Он начал переводить — медленно, вслух, чувствуя, как пересыхают губы:

«Брат мой во Господе. Если ты читаешь сие, значит, я отошёл и тайна осталась на тебе одном. Ключ к составу я разделил надвое, дабы никто, нашедший лишь половину, не отверз ока духа себе на погибель. Первую половину ты схоронишь, где знаешь, и да напоит её живая вода. Вторую же я сокрыл там, где мы вкушали горький напиток и где я впервые увидел грядущее, — в городе воды и стекла, в доме под знаком чёрного арапа...»

Сергей умолк.

«Да напоит её живая вода». Родник. Первая половина — здесь, и связана с источником. А вторая...

— Венеция, — выдохнул он.

— Венеция, — эхом откликнулась Лючия. Снова — на полсекунды раньше него.

«Ключ к составу я разделил надвое...» Сергей знал этот приём. Так прячут шифр те, кто боится собственного текста: одна часть — что читать, другая — чем читать. Половина рецепта здесь, у воды. А «око» — за кривой колонной, гладкое, как зеркало, с прорезями. И без него, вдруг понял он, вторая половина в Венеции будет так же нема, как эти страницы были немы для вора десять лет назад. Слова есть. А прочесть нечем.

Он медленно повернул голову. Лючия смотрела на письмо, и золотые искры лампы плясали в её зрачках. И Сергей вспомнил её слёзы у источника, ежа на дороге, краску на щеках — и не смог собрать прежнего холода.

А в той части его существа, что спасала его дважды, всё же прозвучала целая фраза. И он не отмахнулся.

«Дом под знаком чёрного арапа». Казанова. Дебов. Берегись второго рецепта. И той, что слишком вовремя нашла дорогу к твоему столу.

— Что-то не так? — Лючия подняла на него взгляд. — Вы белы как мел, Сергей.

Впервые — просто по имени. И от этого у него предательски потеплело в груди.

— Всё хорошо, — солгал он, складывая письмо. И улыбнулся той улыбкой, какой улыбаются, чтобы спрятать всё. — Просто, кажется... мы едем в Венецию.

Он смотрел ей в глаза и думал: я повезу тебя с собой. И буду смотреть, кому ты звонишь по ночам. Потому что обязан. И потому что — да поможет мне Бог — мне всё ещё хочется ошибиться. И, кажется, я уже почти хочу этого больше, чем хочу оказаться правым.

IX. Безмолвие

Наверху что-то упало. Глухой тяжёлый стук — будто на каменный пол обрушился увесистый том. Или тело.

Сергей замер, всё ещё держа письмо в руке. Лючия рядом перестала дышать.

Цикады за узким окном подвала оборвали свой стрёкот — все разом, как тогда, во дворе. И в наступившем безмолвии стало слышно только одно: где-то глубоко под ними, в крипте, тихо, ровно, безучастно журчал источник.

— Отец Бенедетто? — позвал Сергей. Голос ушёл в своды и вернулся чужим.

Никто не ответил.

Он поднялся, машинально сунув письмо во внутренний карман — не отдавая себе отчёта, что делает это как вор, — и шагнул к лестнице. Лючия перехватила его за рукав. Пальцы у неё были холодные.

— Не ходите, — прошептала она. — Пожалуйста.

И вот теперь, в это мгновение, Сергей поймал последнее, чего боялся весь день. Не её ложь. Не слежку. А то, как отчаянно, всем нутром, ему хочется ей верить. Он смотрел в её испуганные глаза и не мог понять — испуг за него или испуг перед тем, что вот-вот раскроется.

— Я быстро, — сказал он и осторожно снял её руку со своего рукава.

Он поднялся по стёртым ступеням. Дверь в неф была приоткрыта. В косом вечернем свете, лившемся сквозь окна-бойницы, плавала золотая пыль.

Настоятеля нигде не было.

А посреди нефа, у подножия тринадцатой колонны — той, кривой, лишней, — лежал на плитах тяжёлый фолиант. Раскрытый. Упавший корешком вверх, как подстреленная птица. Сергей не помнил, чтобы этот том стоял здесь раньше.

Он подошёл. Наклонился.

И понял, что книга упала не сама.

На раскрытой странице, поверх латинского текста, лежала записка. Свежая. Белая. Та самая — из-под решётки саркофага, которую нельзя было трогать.

Кто-то её всё-таки достал. И оставил здесь. Для него.

Сергей развернул листок. Три слова, по-русски, знакомым почерком, которого он не видел одиннадцать лет:

«Ты опоздал. Опять».

Цикады за стеной снова запели — все разом, как ни в чём не бывало.

А снизу, из библиотеки, донёсся голос Люции — ровный, спокойный, без тени прежнего испуга. Она говорила тихо, быстро, на языке, которого Сергей не знал.

Она говорила по телефону.

ГЛАВА

2.

Дорога на север

Машину Лючия вела сама — уверенно, как человек, который ездил этой дорогой не раз, хотя сказала, что в Италии впервые. Сергей отметил это и тут же одёрнул себя: после Фраттоккье он замечал слишком много. Так бывает, когда раскроешь один шифр, — какое-то время весь мир кажется зашифрованным, и в трещине асфальта мерещится система.

Рим остался позади мокрым серым пятном. Дворники сметали мелкий дождь, и в их ровном ходе Сергею слышался ритм — два долгих, один короткий, два долгих. Он поймал себя на том, что считает. Профессиональная болезнь. Криптограф не отдыхает никогда; его мозг ищет закономерность даже там, где её нет.

Хотя — была ли она здесь?

Копия рецепта лежала во внутреннем кармане, в плоском пластиковом файле. Оригинал — письмо из крипты — он оставил в надёжном месте ещё в Риме. С собой вёз только эту половину, ту, что сумел прочесть за одну ночь в аббатстве. Вторая осталась там, за кривой

колонной, за «оком», и без зеркальной пластины была нема, как немой она осталась для вора десять лет назад. Сергей вёз половину, которую мог прочесть, — и ехал за половиной, прочесть которую было нечем. Он вообще помнил слишком много — это и сделало его тем, кем он стал.

— Ты опять ушёл, — сказала Лючия, не отрывая глаз от дороги. — Куда на этот раз?

— В дворники.

Она рассмеялась — коротко, тепло, без вопроса. И вот это её свойство — не переспрашивать, принимать его странности как погоду, — было приятнее всего. Слишком приятно. Холодный голос внутри, тот самый, что дважды спасал ему жизнь, шевельнулся: не доверяй тому, что приятно.

Сергей достал файл. Развернул на колене ксерокопию. Полстраницы, испещрённые знаками. Старопровансальский, латынь, и поверх — что-то третье, не язык вовсе, а рисунок: переплетённые линии, похожие на жилы листа или на русло реки с притоками.

— «Слеза севера найдёт кость святого», — прочёл он вслух первую строку. Перевёл сам, ещё в крипте. — «И живая вода покажет лицо. Но прежде — иди туда, где зеркало пишет наоборот».

— Зеркало пишет наоборот, — повторила Лючия. — Леонардо.

Сергей повернулся к ней так резко, что ремень врезался в плечо.

— Почему Леонардо?

— Он писал зеркально. Все его тетради — справа налево, отражением. — Она пожала плечом, легко, будто говорила очевидное. — В школе показывали. Подносишь зеркало — и читаешь.

Это было правдой. Это было совершенно правдой — и именно поэтому неправильно. Сергей сам шёл к Леонардо, но другим путём: через анаграмму в слове «зеркало», через числовой код букв, через двадцать минут расчётов в голове. А она пришла к тому же за одну секунду. Не вычислив. Вспомнив. Или почувствовав.

— Что? — спросила она, поймав его взгляд в отражении над лобовым стеклом. — Я сказала глупость?

— Нет. Ты сказала правильно. — Он помолчал. — Слишком быстро.

Что-то мелькнуло в её лице. Не испуг — Сергей знал, как выглядит испуг, видел его не раз и с той, и с другой стороны допроса. Это было другое. Тень. Будто она на мгновение услышала вопрос, которого он не задал.

— Я просто угадала, — сказала Лючия.

И впервые за два дня Сергей подумал: угадывать — это и есть её профессия?

Он не успел додумать. В зеркале заднего вида, через несколько машин позади, держался серый седан. Тот же, что стоял у выезда из Фраттоккье. Тот же, что — Сергей мог поклясться — он видел ещё в Риме, у ворот аббатства.

Он держался ровно. Не приближался, не отставал. Так ведут не того, кого хотят догнать. Так ведут того, кого хотят довести.

— Лючия, — сказал он спокойно, тем ровным голосом. — На следующем съезде уходи направо. Не к Флоренции. В сторону.

— Но Леонардо — это Винчи, нам прямо...

— Я знаю, где Леонардо. — Он не отводил взгляда от зеркала. — Сделай, как я говорю. Она сделала. Без спора, без лишнего вопроса — мягко увела машину на узкий съезд, в холмы.

Серый седан ушёл прямо. Не свернул.

Сергей выдохнул. И тут же понял, что выдыхать рано: тот, кто умеет вести, не нервничает, когда жертва свернула. Он просто знает, что у жертвы всё равно одна дорога. Объезд по холмам вольётся в ту же трассу парой десятков километров дальше — другой в Винчи нет.

В Винчи.

Туда, где зеркало пишет наоборот.

— Серджо, — тихо сказала Лючия, когда холмы сомкнулись за ними и дождь почти стих.

— За нами кто-то едет, да?

Он посмотрел на неё. На её руки на руле — спокойные. На щёку, где вчера у источника была краска, теперь смытая. На едва заметную складку у губ.

— А ты как думаешь? — спросил он.

И впервые за всю дорогу она не ответила сразу.

ГЛАВА 3. Зеркало пишет наоборот

С вставкой про египетский синий

Дом стоял на окраине Винчи, у самого подножия холма, — старая реставрационная мастерская, куда их привёл человек, чьё имя Лючия назвала только у порога. Серый седан они стряхнули ещё в холмах, на третьем безымянном повороте; но Сергей знал цену такому спокоействию и потому, входя, отметил и второй выход, и окно во двор. Оторваться — не значит уйти. Это значит выиграть час. Может быть, два.

Зеркало пахло временем.

Сергей не сразу понял, откуда это в нём — это глупое, ненаучное слово. Но он стоял перед старым венецианским стеклом в полутёмной мастерской, и в зеленоватой его глубине, как тина в стоячем пруду, дремало что-то очень давнее, и других слов не находилось. Серебро состарилось в темноте, как стареет человек, которого забыли навестить. Оно мутно держало комнату, держало его самого — и держало неохотно, будто делало одолжение.

Два дня он шёл вслепую. Два дня всё в этом деле ускользало, как мокрое мыло из пальцев, и он, который привык, что мир раскладывается перед ним на буквы и числа, впервые чувствовал себя не дешифровщиком, а тем, кого дешифруют.

И вот наконец — почва под ногами. Лист. Зеркало. Леонардо.

Вот это он умел.

Пока Лючия устраивалась у окна, Сергей обошёл мастерскую по периметру — профессиональная привычка, осмотреться прежде, чем сосредоточиться. Реставрационный хлам, застеклённые фрагменты, инструменты вдоль стены. И в дальнем углу, на отдельной подставке — небольшой кусок штукатурки с фреской, с ладонь размером, выцветший по краям. Синий. Очень синий.

— Знаете, что это за пигмент? — сказал кто-то за его спиной.

Сергей обернулся. В дверях стоял хозяин мастерской — немолодой, в рабочем фартуке поверх пиджака, с тем особым выражением человека, который привык, что на его вещи смотрят, но редко видят.

— Синий, — сказал Сергей.

— Египетский синий. — Хозяин подошёл, встал рядом, не глядя на Сергея — только на фрагмент. — Четыре тысячи лет. Современные лаборатории воспроизвели состав точь-в-точь: кальций, медь, кремний. Нагрели до нужной температуры. Получили похожее. Очень похожее. — Он помолчал. — Но под ультрафиолетом древний светится иначе. Структура кристалла — другая. Учёные до сих пор не понимают, как они это делали без приборов. Без единого прибора. — Ещё пауза, короче. — Инструментов не было. Были руки. И было что-то ещё, чему мы пока не придумали название.

Он кивнул им обоим — коротко, как ставят точку — и вышел. Сергей смотрел на фрагмент ещё секунду. Запомнил — не понял зачем. Просто запомнил, как запоминают деталь, которая не вписывается в картину, но и выбросить жалко.

Потом повернулся к работе.

Он поставил лист на подставку, и сердце сделало то, чего стыдился бы вслух: дрогнуло от радости. Тихой, сухой, охотничьей. Леонардо писал справа налево — это знали все. Но Сергей знал больше. Левша, наловчившийся не размазывать чернила, прячет тайну не в направлении руки. Он прячет её там, куда никто не догадается заглянуть, потому что все уже заняты разглядыванием зеркального фокуса. Настоящее всегда лежит под очевидным, как вода под колёсами мельницы.

— Вы улыбаетесь.

Голос Люции пришёл от окна — мягкий, без нажима, как само это утро, что ложилось ей на плечи золотой пылью. Она сидела, подобрав ноги, и смотрела на него так, как смотрят на ребёнка, нашедшего на берегу красивую раковину.

— Так улыбаются, — сказала она, — когда уже знают ответ. Но ещё не хотят его портить словами.

— Я знаю метод, — ответил он. И сам услышал, как сухо это прозвучало рядом с её теплом. — Это не одно и то же.

— Для вас — одно.

Он промолчал. Потому что она была права, и эта правота кольнула — несильно, но точно, как игла, нащупавшая нерв.

Он поднёс лист к стеклу. И буквы развернулись.

Это всегда было как маленькое чудо, и за пятнадцать лет ремесла он так и не привык. Латынь хлынула слева направо, торопливая, с фирменными петлями и сокращениями мастера, — будто Леонардо только что отнял перо, ещё тёплое от его руки, и комната на миг наполнилась его нетерпеливым, насмешливым присутствием. Под текстом — рисунок. Водяная мельница. Колёса, желоба, зубцы.

Смотрите на колёса, — словно шепнул кто-то из зелёной глубины. — А я тем временем спрячу воду.

Сергей сел. Переписал текст начисто. Потом — каждую третью букву отдельной строкой; старый трюк Леонардо, любившего прятать слово в шаге, в ритме, как мелодию прячут в перезвоне будто бы случайных нот. Время загустело и пропало. Он не слышал ни города за окном, ни собственного дыхания — только тихое царапанье карандаша да гулкую тишину сосредоточенности, в которой ему всегда дышалось лучше, чем среди людей.

И вот оно сложилось.

Три слова. Он прочёл их — и радость, та сухая охотничья радость, не пришла. Вместо неё в комнату вошёл холод.

— «Зеркало пишет наоборот», — сказал он вслух.

Слова повисли. Люция не шевельнулась.

— Красиво, — обронила она. — И бессмысленно. Вы и так это сделали — повернули лист зеркалом. Зачем гению писать вам наставление к тому, что вы уже знаете?

Вопрос был хорош. Слишком хорош. Сергей не любил, когда такие вопросы задавал не он, — и ещё меньше любил, когда не находил ответа.

— Это не наставление, — проговорил он медленнее, чем хотел. Слова выходили тяжело, будто их приходилось вытаскивать против течения. — Это предупреждение.

— О чём?

— Не знаю. — Он сам удивился, как трудно было это сказать. Он не привык не знать. — Пока не знаю.

Люция наконец поднялась. Подошла. От неё пахло теплом, чем-то живым и цветочным посреди этой пыли и старого серебра, и Сергей вдруг особенно остро почувствовал, какая мёртвая вокруг тишина. Она не взглянула на лист. Она смотрела в зеркало — в самую его зелёную глубь, где их отражения стояли рядом, чуть смещённые, как два человека, ещё не решивших, по одну ли они сторону.

— Дело не в буквах, — сказала она совсем тихо, и от этой тишины по его спине прошёл озноб. — Дело в том, что отражение — это не вы. Оно повторяет всё, но наоборот. Вы поднимаете правую — оно левую. — Она помолчала. — И если однажды вы перепутаете, кто из вас двоих настоящий...

— Люция. — Он сказал это мягко. Но это было «стоп», и они оба это слышали. — Это шифр. У каждого знака есть причина. Здесь нет места для... — он искал слово, и нашёл холодное, — ...для настроений.

Она посмотрела на него. И в её глазах не было обиды — было что-то куда хуже. Жалость. Тихая, тёплая, невыносимая. Так смотрят на человека, который стоит с картой в руках и упрямо доказывает, что это местность ошиблась, а не он.

Сергею захотелось отвернуться. Он не отвернулся.

— Хорошо, — сказала она. — Тогда объясните мне логикой одну вещь. Почему вы переписали эту фразу три раза?

— Дважды.

— Трижды. — Она кивнула на стол.

Он опустил глаза.

Три листа.

На третьем — которого он не помнил, не помнил совсем, ни единым движением руки, — та же фраза была выведена его почерком. Но не зеркально. Прямо. Ровно. Спокойно. Будто рука сделала это сама, тихо, пока ум был занят колёсами и водой.

В мастерской стало очень тихо. Где-то далеко в городе ударил колокол — один раз — и звук этот вошёл в Сергея, как игла под ноготь.

Логика встала рядом, услужливая, привычная. Усталость. Рассеянность. Автоматизм руки криптографа, привыкшего всё дублировать. Объяснений было три, и все добротные, все его, родные.

Но был ещё этот холод под рёбрами. Тот самый, которому он никогда не давал имени — потому что назвать значило бы признать, что он есть. И сейчас холод говорил ему ясно, без слов, на языке древнее любого шифра: фраза написала себя твоей рукой, потому что хотела, чтобы ты услышал её не глазами.

Несколько секунд — долгих, как падение — Сергей просто смотрел на третий лист.

А потом смял его.

Резко, почти зло, скомкал в кулаке так, что бумага вскрикнула, — и бросил в корзину. И от этого жеста — мелкого, детского — ему на миг стало легче. Будто он не лист скомкал, а заткнул рот тому, кто говорил из-под рёбер.

— Идёмте, — сказал он, и голос наконец стал прежним, твёрдым. — У Леонардо есть продолжение. И оно не в зеркале. Оно под мельницей — он всегда прятал главное под механизмом. Люди глазекот на колёса и в упор не видят воду, которая их вертит.

Он вышел первым, почти торопливо.

Лючия задержалась у двери. Обернулась.

В зелёной глубине зеркала, среди реставрационного хлама, на стене ещё дрожало отражение комнаты. И в нём — она видела это совершенно ясно, без всякой логики, тем самым неназываемым знанием, которое всегда приходило к ней раньше доводов, — на отдельном листе по-прежнему стояла прямая, незеркальная фраза.

Тот лист она в корзину не бросала.

И он, она знала это твёрже, чем что бы то ни было, не писал его три раза.

Он написал один.

Два других написало зеркало.

Лючия ничего не сказала. Она просто запомнила — тихо, бережно. У неё была давняя привычка хранить то, чему пока нет объяснения: складывать про запас, как складывают сухой хворост — заранее, для огня, которого ещё нет.

Она знала: огонь будет.

Она просто не знала ещё, что гореть в нём придётся им обоим.

ГЛАВА 4

.

Микеланджело

Мельница Леонардо не сохранилась — от неё остался только фундамент да имя, прилипшее к месту, как влага к камню. На этом фундаменте, спиной к холмам, стоял дом. Тот самый, что нарисовал Леонардо под своим шифром: не механизм, а место, где механизм когда-то был. «Ищи под мельницей» — и вот она, мельница, стёртая временем до одного слова, до одного порога.

Дом стоял у самой стены Винчи и казался старше всего, что его окружало. Не камнем — взглядом. Так смотрят дома, в которых долго хранили чужие тайны и научились им не вредить.

Их ждали. Это Сергей понял по тому, как открылась дверь — раньше, чем он коснулся молотка. И вчерашний холод под рёбрами шевельнулся было, ожидая подвоха. Но подвоха не было. Старик на пороге смотрел так открыто, что считать в нём было нечего, — и Сергей, ещё вчера у зеркала не знавший, кто из двоих в стекле настоящий, вдруг с облегчением понял: здесь считать некого. Здесь всё было тем, чем казалось.

— Синьор Клепов. — Он был сух и сед, в простой сутане без знаков. — И синьора. Я хранитель здешнего архива. Меня предупредили, что придёт человек с половиной.

— Кто предупредил? — спросил Сергей.

— Тот, кто двести лет назад спрятал письма для вас. — Старик улыбнулся. — Не для вас лично. Для того, кто придёт. Войдите.

Лючия вошла первой — легко, и Сергей снова отметил эту лёгкость и снова не нашёл в ней угрозы.

Внутри пахло воском, тёплым деревом и старой бумагой. Свет лился сверху, сквозь стеклянный фонарь в крыше, и ложился на стол ровным золотом. На столе — деревянный ларец и кожаная папка.

— Микеланджело писал курии всю жизнь, — сказал хранитель, открывая папку бережно, как открывают ладони. — Жалобы, счета, гнев. Триста писем. Их читали миллионы. — Он помедлил. — Но три письма не читал никто. Их нашли год назад — за фальшивым дном ларца.

Сергей взял первый лист. Бумага дышала возрастом под пальцами. Почерк резкий, гневный — и вдруг, к середине, успокоившийся.

— Здесь он пишет не кардиналу, — тихо сказал хранитель. — Здесь он пишет о камне.

Сергей читал. Латынь Микеланджело была шероховатой, как необработанный мрамор, но одна фраза стояла чисто, отёсанная:

«Я не творю фигуру. Она уже внутри камня. Я лишь убираю лишнее, чтобы выпустить то, что вложил Бог. Так и ты, читающий: ничего не создавай. Освободи то, что уже есть».

Сергей опустил лист. Что-то сдвинулось в нём — не расчёт, а под расчётом, глубже.

— Он говорит о шифре, — произнёс он медленно. — Не «придумай ключ». «Убери лишнее».

— Он говорит о даре, — мягко поправила Лючия. Она стояла у стены, где висел старый эстамп: незаконченный «Раб», полуфигура, до пояса вросшая в необработанный камень. — Смотрите. Он не дорублен. И именно поэтому живой. Видно, как тело рвётся из глыбы. — Она обернулась. — Законченное — мёртвое. Живёт то, что ещё в пути.

Сергей посмотрел на неё. На эстамп. Снова на неё.

Опять она пришла к сути за секунду — туда, куда он шёл расчётом. Но впервые холодный голос внутри не сказал «не доверяй». Впервые ему захотелось не считать её, а просто слушать.

И это испугало его сильнее любой слезы.

— Между строк — другие знаки, — сказал хранитель, поднося лампу. Под тёплым светом проступило: бледно, поверх латыни, те же переплетённые линии, что на половине рецепта. — Я вижу чернила, синьор. Что они говорят — не мне знать. Моё дело — сохранить и отдать. Двести лет хранили честно. Ни один не присвоил.

— Почему? — спросил Сергей. — Здесь — ключ к великой силе. За такое убивают.

— Потому что нас учили одному. — Старик сложил письма стопкой, ровно. — Дар нельзя взять. Его можно только передать. Кто берёт себе — теряет. Кто хранит для другого — умножает. — Он подвинул листы. — Микеланджело это знал. Он не вырубал своё — он выпускал чужое, вложенное прежде. Хранитель делает то же. И вы, синьор, скоро встанете перед этим выбором. Берите.

Сергей сложил три письма с половиной рецепта. И бледные линии между строк потянулись друг к другу, как жилы одного листа, как русла к одной реке. Не весь узор. Но больше, чем было. И впервые он не «вычислил» совпадение — он его увидел, целиком, как видят лицо.

— Тут продолжение, — сказал он, и голос у него сел. — Микеланджело дописал то, что начал Леонардо. Они знали друг о друге. Они... передавали.

— Цепь, — кивнул хранитель. — Вы не первый, кто идёт. И, если будете достойны, не последний, кто оставит след.

Лючия подошла к столу. Коснулась письма — легко, кончиками пальцев. И сказала так тихо, что Сергей едва расслышал:

— Тёплое. Бумага тёплая.

— Это свет из фонаря, синьора, — улыбнулся хранитель.

— Нет, — сказала она и сама удивилась. — Это рука того, кто писал. Через все года. Я чувствую руку.

Сергей смотрел на неё — на живое, открытое, ничем не защищённое лицо — и думал не как криптограф.

Думал: вот это машине не подделать. Тепло чужой руки сквозь триста лет. Это можно только почувствовать. И только живым.

— Идём, — сказал он мягко. — Спасибо, отец.

— Идите по свету, — ответил старик. — Дальше будет темнее. Помните о камне: убирайте лишнее. И не берите себе того, что должно идти дальше.

Они вышли в полдень. Холмы лежали в золоте, дождя больше не было. Серого седана нигде не стояло — но Сергей знал, что это не означает «нет». Это означает «ждут».

— Куда теперь? — спросила Лючия.

Сергей посмотрел на письма. На бледную линию, что обрывалась в пустоте — и указывала дальше, на восток, к Флоренции, к рождению из пены.

— К той, что вышла из воды, — сказал он. — К Боттичелли.

ГЛАВА 5. Рожденная из числа

Боттичелли

Рим встретил их жарой и мрамором.

После тосканских холмов, где свет был мягок и стелился, как тёплое масло, римское солнце било прямо — белое, отвесное, безжалостное к теням. Оно не ласкало камень, оно его допрашивало. И камень отвечал: всюду, куда ни падал взгляд, лежали тела — мраморные, бронзовые, нарисованные, — и все они были сложены по одному закону, которого Сергей пока не знал, но уже чувствовал затылком, как чувствуют чужой взгляд в спину.

Галерея была частной — две комнаты над антикварной лавкой, куда их впустили по тому же странному праву, по какому впускали везде: их *ждали*. Сергей перестал этому удивляться. Он перестал даже считать, кто и зачем предупреждает о них раньше них самих. Цепь, сказал хранитель в Винчи. Он шёл по цепи — и цепь шла впереди, опирая двери.

— Вот, — сказал смотритель, невзрачный человек с пальцами, испачканными в краске, и оставил их одних.

«Вот» была копия. Не та, прославленная, что плавала в своей раковине во Флоренции под взглядами тысяч, — а малая, рабочая, мастерская версия «Рождения Венеры», которую Боттичелли, по преданию, держал у себя и не отдал заказчику. Краски на ней были тусклее. И именно поэтому, понял Сергей через минуту, живее — как незаконченный «Раб» был живее отшлифованных статуй. Здесь ещё виднелась рука, ещё дышало усилие.

Венера стояла на своей раковине, выходя из воды, прикрытая лишь собственными волосами и вечным целомудренным жестом, и смотрела мимо них — спокойно, чуть печально, как смотрят те, кто знает о себе нечто, чего не знают зрители.

Сергей достал письма. Бледная линия, тянувшаяся от Микеланджело, обрывалась здесь — у этой картины, у этого тела. Он ждал шифра. Знака на раме, тайнописи в углу, буквы, спрятанной в складке. Он искал глазами привычное — и не находил.

— Здесь ничего нет, — сказал он наконец, и в голосе была не растерянность, а злость на растерянность. — Ни кода, ни метки. Линия привела в пустоту.

— Линия привела к телу, — сказала Лючия.

Она не подошла к картине. Она остановилась поодаль и смотрела на Венеру так, как женщина смотрит на другую женщину, — узнавая, сравнивая, прощая.

— Вы ищите шифр на картине, — продолжала она. — А шифр — это сама картина. Точнее, она. — Лючия кивнула на Венеру. — Её тело. Боттичелли не прятал число в углу. Он спрятал его в ней.

Сергей хотел возразить — и не возразил. Что-то в этом легло слишком точно, как ложится последний фрагмент в разгаданный наконец узор. Он подошёл ближе. И теперь, когда подсказка была произнесена, он увидел то, чего обученный глаз стыдился не видеть раньше.

Тело Венеры было *неправильным*.

Шея слишком длинна. Левое плечо опущено невозможно низко. Линия торса, спадающая к бёдрам, изгибалась так, как не изгибается живая спина. Анатомы триста лет вежливо отмечали эти «вольности гения». Но Сергей был не анатом. Он был человек, для которого мир раскладывался на числа, — и сейчас, впервые посмотрев на тело не как на тело, а как на текст, он увидел: ошибки не были ошибками. Они были *поправками*. Боттичелли искажал натуру не вопреки мере, а ради другой, высшей меры, которой подчинял живую плоть.

— Дайте линейку, — сказал он сухо. — Что угодно. Край письма.

Он мерил. Пупок делил фигуру не пополам — он делил её так, что меньшая часть относилась к большей, как большая ко всему. Высота головы укладывалась в рост ровно столько

раз, сколько требовал закон. Расстояние от пупка до темени, от пупка до ступней — снова то же отношение, упрямое, прораставшее сквозь всё тело, как одна нота сквозь мелодию.

Число было одно. Оно жило везде.

— Фи, — сказал он тихо. — Золотое сечение. Она вся построена на нём. От и до. Это не женщина. Это... формула, которой придали плоть.

— Это женщина, — мягко поправила Лючия. — Которой дали понять, по какому закону она сложена.

Сергей выпрямился. Холод под рёбрами — тот самый, безымянный — шевельнулся снова, но не от страха. От размаха открывшегося.

— Вы не понимаете, — проговорил он, и впервые за всю дорогу заговорил не как тот, кто молчит, а как тот, кому нужно сказать вслух, чтобы устоять. — Это число — оно повсюду. В раковине, что несёт её, — спираль раковины свёрнута по нему. В волне, в водовороте. В семечках подсолнуха, в сосновой шишке, в ветвлении дерева. В улитке. — Он смотрел на Венеру и говорил уже не ей, не Лючии — себе. — Я всю жизнь думал, что мера — это то, что человек *накладывает* на хаос. Решётка, которую мы набрасываем на бессмыслицу, чтобы не сойти с ума. А оно... оно было там раньше нас. Оно вшито в раковину прежде всякого глаза, готового её измерить. Природа считала до того, как появился тот, кто умеет считать.

— И тело тоже, — сказала Лючия.

Она наконец подошла. Встала рядом — близко, и от неё снова пахло живым, цветочным духом среди мраморной сухости. И она сделала то, чего Сергей не ждал: подняла его руку — спокойно, без спроса, как берут руку ребёнка, — и приложила его ладонь к собственной шее, под подбородком.

— Считайте, — сказала она. — От ключицы до подбородка. От подбородка до глаз.

Он застыл. Под его пальцами билась её жилка — частая, живая, тёплая. И сквозь это тепло привычный ум, против воли, сам раскладывал расстояния, искал отношение — и нашёл. То же число. Упрямое. То же отношение, что в Венере, что в раковине, что в волне, — жило под его ладонью, в живом горле живой женщины, которая смотрела на него в упор, не отводя глаз.

— Вы и я, — сказала она очень тихо. — Венера и подсолнух. Раковина и водоворот. Мы все написаны одной рукой. Одним числом. — Она помолчала, и взгляд её на миг ушёл куда-то мимо него, туда, куда он ещё не умел смотреть. — Вот почему я угадываю, Сергей. Не потому, что я ведьма. А потому, что я сложена по тому же закону, что и мир. Иногда я просто... слышу, как он звучит. Резонирую. Как струна, когда рядом тронули такую же.

Сергей убрал руку. Медленно. Тепло её кожи осталось на ладони, и стереть его расчётом не получалось.

— Резонанс, — повторил он. Слово было его, твёрдое, физическое, и за него можно было держаться. — Если две струны настроены одинаково, тронешь одну — отзовётся вторая. Без касания. Через пустоту.

— Через пустоту, — эхом отозвалась она. И улыбнулась — но в улыбке этой не было торжества, была печаль. — Вы начинаете слышать. Это и пугает вас сильнее всего, верно? Не седан у ворот. Не люди, что идут следом. А то, что мир, оказывается, говорит — а вы всю жизнь принимали его за немой.

Он не ответил. Ответить было нечем — и впервые молчание не было его щитом, а было просто молчанием человека, у которого отняли привычные слова.

Он снова посмотрел на Венеру. И теперь увидел её иначе — не формулу, облечённую в плоть, и не плоть, тайно подчинённую формуле, а нечто третье, для чего у него ещё не было имени: место, где число и тело — одно. Где мера не насилует жизнь и жизнь не бежит от меры. Где они звучат вместе, в лад, как две одинаково натянутые струны.

И где-то на самом краю сознания, тихо, как третий лист в мастерской Леонардо, шевельнулась мысль, от которой он отшатнулся: *если мир построен по числу — то всё в нём можно вычислить. Всё. И угадать наперёд. И если найдётся тот, кто услышит закон до конца, — он услышит и будущее, как Лючия слышит правду. Дар. Или оружие.*

Он смял эту мысль, как смял когда-то лист. Но она, в отличие от листа, не скомкалась. Она осталась — прямая, ровная, написанная не им.

— Где знак? — спросил он резко, возвращая себе голос. — Само тело — ключ, хорошо. Но ключ к чему? Линия от Микеланджело вела сюда не затем, чтобы я полюбовался пропорциями. Что дальше?

Лючия подошла к раковине Венеры — к спирали, свёрнутой по тому же числу. Провела пальцем по её виткам, от широкого края внутрь, к тугой сердцевине.

— Спираль не кончается, — сказала она. — Она сворачивается всё туже, и каждый новый виток меньше прежнего ровно во столько же раз. Бесконечно. — Она остановила палец в самом центре, где витки сходились в точку. — Дальше — туда, куда ведёт эта свёртка. Внутрь. К тому, кто записал его числами, а не телами. — Она обернулась. — Вы знаете, кто это, Сергей. Вы знаете это имя лучше меня.

И он знал.

Число, что сворачивало раковину и строило тело, что таилось в шишке и в волне, имело не только плоть. У него было и второе обличье — голое, без кожи, чистый ряд, в котором каждое следующее рождалось из суммы двух прежних и в котором, чем дальше, тем точнее проступало то самое отношение. Человек, открывший Западу этот ряд, привёзший его из чисел арабов, был сыном Пизы.

— Фибоначчи, — сказал Сергей.

Имя упало в жаркую тишину галереи, и Венера, выходя из своей вечной воды, смотрела мимо них — спокойно, чуть печально, как та, что давно знала ответ и ждала лишь, когда живые наконец его расслышат.

— На север, — сказал Сергей и сам удивился, что сказал это не из расчёта, а будто услышав. — В Пизу. К тому, кто записал нас числами.

Лючия кивнула. И, выходя следом за ним на белый римский зной, унесла в себе ещё одну тёплую заготовку — из тех, что копят для будущего огня.

Резонанс. Две струны через пустоту.

Она ещё не знала, как скоро кто-то возьмёт этот закон — закон, по которому она угадывала правду, — и настроит по нему третью струну. Мёртвую. Чтобы та зазвучала, как живая. И что отличить живой отклик от поддельного придётся ей самой — той самой жилкой под подбородком, к которой только что прикасалась чужая, начинающая слышать рука.

ГЛАВА 6

.

Сын Пизы

Пиза встретила их не зноем, а ветром.

После римского солнца, что допрашивало камень в упор, здесь воздух шёл с моря — влажный, подвижный, пахнувший тинной и нагретым кирпичом, — и от этого казалось, будто сам город слегка покачивается, как палуба. Сергей не сразу понял, отчего ему так не по себе. А потом поднял глаза — и понял.

Башня стояла криво.

Он знал это с детства, по тысяче открыток, по школьным задачам про угол наклона, — но знать и видеть оказалось не одно и то же. Открытка лгала тем, что была неподвижна. Здесь же восемь мраморных ярусов, поставленных один на другой, висели в воздухе под углом, которого не должно быть, — и не падали. Каждый ряд колонн повторял предыдущий, уменьшаясь

кверху, и весь этот белый исполин замер в той самой точке, где равновесие уже кончилось, а падение ещё не началось.

— Она стоит восемьсот лет, — сказала Лючия, останавливаясь рядом. — Восемьсот лет падает и не может упасть.

— Её удержали расчётом, — отозвался Сергей. Слово было привычное, твёрдое, и он сказал его, чтобы заземлиться. — В последние ярусы заложили перекося в другую сторону. Каменщики гнули её обратно, пока строили. Кривизна на кривизну. Минус на минус.

— Две ошибки сложили в правду, — сказала она. — А ты говоришь — расчёт.

Он не ответил. Башня висела над ними, мраморная и невозможная, и впервые за всю дорогу расчёт не успокоил его, а напугал: вот же она, мера, наложенная человеком на падение, — и держит. Решётка, набрасываемая на хаос, чтобы тот не обрушился. То самое, во что он верил всю жизнь. Только теперь он знал — после Венеры, после жилки под её подбородком, — что под этой человеческой мерой лежит другая, нечеловеческая, древнее всякого каменщика. И не был уверен, какая из двух держит башню на самом деле.

Площадь Чудес была почти пуста — раннее утро, туристов ещё не привезли, — и оттого собор, баптистерий и башня стояли на своём подстриженном зелёном поле особенно одиноко, особенно отчётливо, как три предмета, вынутые из шкатулки и разложенные на сукне для того, кто умеет читать.

Их ждали и здесь.

Человек вышел из тени баптистерия — старый, сухой, в сером, с лицом, похожим на потёртую монету: черты стёрлись, но достоинство чеканки осталось. Он не представился. Он только посмотрел на Сергея — долгим, оценивающим, почти медицинским взглядом, — и на письма в его руке.

— Вы дошли быстрее, чем те, кто шёл до вас, — сказал он. Голос был тихий, ровный, без удивления. — Цепь предупредила. — Он чуть склонил голову. — Я храню то, что осталось от Леонардо Пизанского. Не золото. Не кости. Ряд.

— Фибоначчи, — сказал Сергей.

— Так его прозвали потом. *Filius Bonacci* — сын Боначчи. Сын. — Старик произнёс это с нажимом, и Сергей не понял зачем. — Идёмте. Здесь нельзя стоять долго. Камень слушает, а у камня теперь есть уши, которых не было при Леонардо.

Он повёл их не в башню — в баптистерий, круглое гулкое здание, где каждый звук жил дольше, чем длился. Старик остановился в центре, под куполом, и не сказал ничего. Просто запел — одну ноту, короткую, чистую.

И нота не умерла.

Она поднялась к куполу, отразилась, вернулась, наложилась на себя — и зазвучала второй раз, чище и выше, будто кто-то невидимый повторил её сверху. Потом третий. Эхо здесь не затихало, как везде, а строило само на себе, виток на виток, голос на голос, — и Сергею, застывшему посреди этого нарастающего звука, на миг показалось, что поёт не старик, а само пространство, дождавшееся, когда его наконец тронут.

— Слышите? — спросил старик, когда последний отзвук истаял под куполом. — Один голос. А кажется — хор. Здесь так построено: звук возвращается к себе и складывается с собой. — Он посмотрел на Сергея. — Леонардо Пизанский услышал то же самое. Только не в камне. В числах.

Он опустил на корточки и достал из складок серого одеяния не книгу — лист, ветхий, защищённый меж двух стёкол. На листе шли цифры, выведенные коричневыми чернилами столетия назад: ряд, в котором каждое следующее число было суммой двух предыдущих.

— Один, — сказал старик, ведя пальцем над стеклом. — Один. Два. Три. Пять. Восемь. Тринадцать. — Палец двигался дальше. — Каждое рождается из двух прежних. Как звук в

этом куполе рождается из собственного отражения. Как сын рождается от двух. — Он поднял глаза. — Filius Bonacci. Сын. Ряд — это родословная: каждое число помнит своих родителей.

Сергей смотрел на цифры — и привычный ум уже бежал вперёд, делил, искал отношение. Тринадцать к восьми. Двадцать один к тринадцати. Чем дальше по ряду, тем упрямее каждая дробь подползала к одному и тому же числу — к тому самому, что строило тело Венеры, сворачивало раковину, билось жилкой под подбородком Люции.

— Фи, — выдохнул он. — Этот ряд сходится к золотому сечению.

— Ряд и есть его второе тело, — кивнул старик. — Боттичелли дал ему плоть. Леонардо Пизанский дал ему голую кость — число. Одно и то же, под кожей и без кожи. — Он накрыл стекло ладонью, будто прикрывая огонь от ветра. — И вот что вам нужно понять, прежде чем вы пойдёте дальше на север. Этот ряд не описывает мир. Он его предсказывает.

Слово упало в гулкую тишину баптистерия — и не умерло, как нота. Сергей почувствовал, как оно отозвалось где-то под рёбрами, в том самом безымянном холоде.

— Как это — предсказывает? — спросил он, и голос вышел суше, чем он хотел.

— Возьмите ветку, — сказал старик. — На ней сегодня один росток. Завтра он даст ещё один. Потом каждый старый росток начнёт давать новые — по тому же закону, по какому число рождается от двух прежних. И если вы знаете ряд — вы знаете заранее, сколько ростков будет на ветке через год. Не предполагаете. Знаете. — Он встал, медленно, держась за колено. — Дерево ещё не выросло, а число его уже написано. Раковина ещё не свернулась, а её виток уже сосчитан. — Он посмотрел на Сергея в упор. — Вы понимаете, что это значит для того, кто услышит ряд до конца?

Сергей понимал.

Он понимал слишком хорошо — и именно поэтому отступил на шаг, будто старик протянул ему не лист под стеклом, а раскалённый металл. Та мысль, что шевельнулась в римской галерее и которую он смял, как лист, — теперь распрямилась полностью, во весь рост, прямая и ровная, написанная не им. Если мир сложен по числу — его можно сосчитать наперёд. Не угадать. Вычислить. И будущее — лишь следующий член ряда, который ещё не наступил, но уже определён двумя предыдущими.

— Это невозможно, — сказал он. И сам услышал, что говорит не «это ложь», а «это невозможно», — то есть уже не отрицает закон, а лишь страшится его масштаба.

— Дерево считает, не зная счёта, — мягко сказала Люция. Она всё это время стояла поодаль, у круглой стены, где жило эхо, и голос её, отражённый куполом, пришёл к Сергею словно бы со всех сторон сразу. — Подсолнух раскладывает семечки по этому ряду, не открыв ни одной книги. Природа знает себя наперёд в каждом ростке, в каждой раковине, в каждом ударе сердца. — Она помолчала. — Другое невозможно. Что нашёлся бы человек, способный сосчитать её всю. Слишком велик ряд. Слишком длинна родословная.

— А если не всю? — тихо спросил старик. И в этом вопросе была не подсказка ученику — была давняя, выношенная тревога. — Если найдётся тот, кому довольно услышать ряд не до конца, а на два-три члена вперёд? Завтра вместо сегодня? Чужой ответ прежде, чем тот успел ответить? Чужой ход прежде, чем тот успел его сделать? — Он спрятал стекло обратно в складки. — Этого довольно, чтобы держать в руке всякого, кто живёт лишь сегодняшним числом.

Сергей молчал. Баптистерий был пуст, но казался полным — будто эхо хранило в себе все ноты, когда-либо здесь спетые, и теперь они стояли вокруг невидимым хором, ожидая своей очереди прозвучать.

— Кто вы? — спросил он наконец. — Вы говорите не как хранитель. Вы говорите как тот, кто этого уже боится.

Старик долго смотрел на него. Потом сказал:

— Я последний из тех, кто стерёг ряд от тех, кому он нужен не для красоты. Нас было много. Теперь — я. — Он повернулся к выходу, и серый плащ качнулся, как тень. — Вас ведут на север, в Венецию. Там вы встретите тех, кто давно понял то, до чего вы только дошли. И один из них уже строит из этого ряда не башню. — Он помедлил. — Помните купол. Один голос складывается с собой и кажется хором. Так подделывают многих — из одного. Так подделают и живое — из мёртвого. Слушайте не хор. Слушайте, есть ли в нём хоть один живой голос.

Он вышел в светлеющий проём — и на пороге, не оборачиваясь, добавил тихо, так, что слова едва добрались до Сергея сквозь гулкий воздух:

— Цепь ведёт вас. Но кто-то идёт по цепи следом. И он спрашивает у неё то же, что вы. Только цепь не знает, кому отвечает.

Дверь закрылась. Эхо последней фразы поднялось к куполу, отразилось, вернулось — и впервые показалось Сергею не чудом, а угрозой: то же пространство, что множит чистый голос, так же послушно множит и ложь.

Они вышли на площадь. Башня по-прежнему висела над зелёным полем под своим невозможным углом — падающая, неупавшая, удержанная двумя ошибками, сложенными в чудо. Сергей смотрел на неё и впервые видел в ней не задачу из учебника, а образ себя самого: человека, стоящего на краю нового знания и ещё не знающего, что его удержит — расчёт каменщиков или то, что держало башни до первого каменщика.

— Вы поняли, что он сказал в конце? — спросила Лючия.

Она помолчала, глядя на башню. И Сергей увидел — на секунду, раньше, чем она убрала, — что-то похожее на страх. Не за него. За себя.

— Что за нами идут, — сказал он. — Это я знал и без него.

— Не за нами, — поправила она тихо. — За цепью. Это хуже. За нами можно закрыть дверь. А цепь — она тянется и впереди, и позади, и тот, кто сзади, дёргает за те же звенья, что и мы. Спрашивает у тех же хранителей. — Она посмотрела на башню. — И они отвечают ему. Потому что цепь не умеет молчать. Она для того и создана, чтобы передавать дальше. В обе стороны.

— Тогда зачем мы идём? — спросил Сергей. — Если тот, кто сзади, узнаёт всё, что узнаём мы, — и, может, быстрее?

Лючия повернулась к нему. И в её глазах было то, чего он раньше не видел, — не лукавство гадалки, не печаль знающей, а простой человеческий страх, тщательно убранный вглубь.

— Затем, что он спрашивает у цепи только числа, — сказала она. — Ряд. Кость без кожи. А вы... вы начали слышать ещё и плоть. Венеру. Купол. Живой голос среди хора. — Она помолчала. — Тот, кто сзади, придёт к концу ряда раньше нас. Но он придёт туда глухим.

Она пошла к воротам — туда, где их ждала дорога на север, к воде, к городу, что стоит на сваях и зеркалах.

Сергей ещё мгновение смотрел на башню, потом повернулся и пошёл следом.

Она шла чуть впереди и не оглядывалась. Но он заметил, как она чуть сбавила шаг — так, чтобы он догнал сам. Она читала его так же, как он читал башню: не торопя, не трогая, ожидая, когда сам скажет, куда клонится.

Восемьсот лет она падала и не падала. Удержанная перекосом. Ошибкой против ошибки. Числом, заложенным в камень против числа, тянущего камень вниз.

Минус на минус, — подумал он. — Двумя неправдами держат правду.

И впервые подумал об этом не с восхищением, а с холодом: если две неправды способны удержать башню — значит, кто-то однажды может сложить из двух правд обман. И поди отличи.

Он унёс в себе — как она уносила свои тёплые заготовки для будущего огня — одну холодную, ровную мысль, написанную не им и не стираемую никаким расчётом:

Ряд знает следующее число. И тот, кто сзади, это уже знает.

Далеко на юге, в комнате без окон, где свет был ровным и не имел источника, человек в лиловом перебирал чётки из чёрного янтаря — беззвучно, по одной бусине, как отсчитывают члены некоего ряда.

Перед ним на столе лежал лист. Не древний — свежий, отпечатанный сегодня. Расшифровка перехвата: имена городов, даты, направление. Рим. Пиза. Дальше — Венеция.

— Они были у пизанца, — произнёс голос. Не его собственный — тот шёл из небольшого устройства подле листа, ровный, бархатный, безупречно поставленный, и принадлежал человеку, умершему четыре столетия назад; машина собрала его из проповедей, записанных чужими руками, и теперь он говорил всё, что ему велели говорить. — Они узнали про ряд.

— Узнали, — согласился епископ Сальваторе делла Воче, и его собственный голос рядом с восстановленным прозвучал глуше, человечнее — почти бедно. — Хорошо. Пусть узнают. Пусть несут знание дальше, к воде. Цепь работает на нас не хуже, чем на них. — Он остановил бусину под большим пальцем. — Старик в Пизе сказал им про хор. Про один голос, что кажется многими.

— Он всегда это говорил, — ответил мёртвый голос. — Это его и погубит.

— Это погубит их, — поправил делла Воче — мягко, без злобы, тем особым тоном, каким говорят люди, искренне полагающие, что разрушают во благо. — Они будут вслушиваться, отличая живое от мёртвого. Будут терять время на это различие. А мы... — он провёл большим пальцем по гладкой бусине, — мы уже не различаем. Для нас живое и мёртвое поют в один голос. В этом наша сила, друг мой. Мы перестали слышать разницу — и потому слышим будущее чище их.

Он отложил чётки. Поднялся. В комнате без окон его движение не отбросило тени — свет был ровным и не имел источника, как и положено свету, которому нечего скрывать и нечего являть.

— Готовьте Венецию, — сказал он. — Город зеркал. Лучшее место, чтобы человек наконец перестал отличать отражение от лица.

Мёртвый голос не ответил. Он умел только говорить — и только то, что вкладывали. Но в наступившей тишине, ровной и без источника, делла Воче на миг прислушался — не к устройству, а к себе, — и не услышал в собственной груди ни сомнения, ни страха, ничего живого, что отозвалось бы на чужую правду.

И счёл это знаком избранности.

И ошибся — как ошибается всякий, кто принял глухоту за слух.

ГЛАВА 7. Город, который пишет наоборот

Каналетто

Венеция началась с того, что исчезла земля.

Поезд шёл по дамбе, по тонкой нитке камня, проложенной через лагуну, и по обе стороны не было ничего, кроме воды — серой, плоской, недвижной, в которой висело перевёрнутое небо. Сергей смотрел в окно и не мог понять, где кончается настоящее облако и начинается его отражение. Граница была размыта. Верх и низ держались на честном слове, и стоило поезду чуть качнуться, как мир в стекле качался тоже — два мира, настоящий и водяной, и ни один не уступал другому в подлинности.

«Город зеркал», — вспомнил он. И впервые слова делла Воче, услышанные через чужой пересказ хранителя, легли не как угроза, а как точный диагноз места.

Он подумал о пизанском старике — и понял, что не спросил его имени. Просто не спросил. Цепь передавала знание, но не людей.

Они сошли на берег — на тот странный венецианский берег, где из воды сразу встают дома, без всякой суши между, будто город не построен на земле, а пришит к её отсутствию. Гондолы, причалы, ступени, уходящие прямо в зелёную глубину. Здесь всё стояло на сваях, вбитых в ил восемьсот лет назад, и Сергей, помнивший пизанскую башню, подумал: там камень держался перекосом против падения, здесь — целый город держится на том, чего не видно. На утопленном лесе. На доверии к невидимому.

— Нас ждут? — спросил он, хотя уже знал ответ.

— Нас ждут, — сказала Лючия.

Но в этот раз она сказала это иначе. Не спокойно, как прежде. В голосе была тонкая, едва уловимая трещина — будто струна, которую слишком сильно натянули.

Их ждали не в галерее и не в палаццо. Их ждали в мастерской зеркальщика на Мурано — острове, куда Республика когда-то сослала всех стеклодувов разом, под страхом смерти запретив им вывозить тайну за пределы лагуны. Здесь, среди печей, не остывавших столетиями, рождались самые чистые зеркала Европы — те, в которых лицо отражалось без искажения, ровно таким, каким было. И тем страннее показался Сергею человек, встретивший их.

Он был молод — первый молодой среди всех хранителей цепи. И он не смотрел в глаза. Он смотрел чуть в сторону, мимо, как смотрят те, кто привык видеть людей не прямо, а в отражении.

— Вы дошли до воды, — сказал он. — Дальше воды цепь не идёт. Венеция — последнее звено и первое зеркало. — Он повёл их в глубь мастерской, мимо печей, мимо листов остывающего стекла. — Здесь линия от пизанца сворачивается. Здесь число обретает не плоть, как у Боттичелли, и не кость, как у Фибоначчи. Здесь оно учится лгать. — Он помедлил. — Число не лжёт само. Но тот, кто берёт только число — без плоти, без жилки, без выбора — получает правду, из которой можно сделать любую ложь.

Он остановился перед мольбертом, на котором стояла картина под покрывалом.

— Каналетто, — сказал он и снял ткань.

На картине была Венеция. Та самая, за окном, — канал, дворцы, мост, лодки, небо, отражённое в воде. Сергей смотрел и узнавал каждый дом. Всё было на месте, всё точно, всё достоверно до последнего кирпича — и именно эта чрезмерная, неживая точность царапнула его первой.

— Слишком верно, — сказал он медленно. — Так не видит глаз. Глаз сбивается, мажет, что-то упускает. А здесь — каждый камень на счету. Как будто писал не человек.

— Не человек, — кивнул зеркальщик. — Машина. — Он указал на тёмный деревянный ящик в углу мастерской, с круглым отверстием в одной стенке. — Камера-обскура. Свет вхо-

дит в дырку и рисует на задней стенке мир — сам, без руки. Перевернутым. Каналетто ставил ящик, ловил отражение города и обводил его. Он не писал Венецию. Он обводил её тень, отброшенную светом сквозь дырку. — Молодой человек обернулся, и впервые посмотрел Сергею прямо в глаза — и взгляд был тяжёл. — Понимаете? Уже триста лет назад был способ получить картину мира без художника. Свет писал сам. Человек только закреплял написанное.

Сергей подошёл к ящику. Заглянул внутрь — и на матовой задней стенке увидел кусок мастерской: печь, лист стекла, край окна, — всё перевернутое вверх ногами, маленькое, дрожащее, но безупречно точное. Свет действительно писал сам. Без воли. Без выбора. Без слуха.

— Это и есть тьма, о которой говорил пизанец, — сказал он тихо, не оборачиваясь. — Не зло. Точность без человека. Картина без того, кто видит.

— Теперь вы готовы, — сказал зеркальщик.

И повёл их дальше — за печи, к глухой стене, где висело старое зеркало муранской работы, мутноватое от времени. Он нажал на раму, и зеркало отошло, открыв нишу, а в нише — лестницу вниз, к воде.

— Не я придумал привести вас сюда, — сказал он, и в голосе снова прорезалась та молодая, неуверенная нота. — Так велела цепь. Звено за звеном. Кто-то впереди отпер эту дверь раньше, чем вы к ней подошли.

Лючия — он почувствовал — придержала шаг: она узнала что-то прежде, чем увидела.

— Кто-то впереди, — повторила она. И положила руку на холодную раму зеркала. — Не позади. Впереди.

— Я не понимаю, — сказал зеркальщик.

— Зато я начинаю, — тихо сказала она. И посмотрела на Сергея. — Пизанец сказал: за нами идут по цепи. Сзади. Спрашивают у тех же хранителей. Но эту дверь отперли перед нами. Значит, тот, кто сзади, нас уже обогнал. Он не идёт следом. Он встречает.

В мастерской стало очень тихо. Только печи гудели ровно, как гудели триста лет.

Лестница привела их в нижнее помещение — полузатопленный зал, какие есть под многими венецианскими домами, где вода стоит на полу тонким слоем и отражает свод. Здесь было прохладно и пахло солью. И здесь их ждал человек.

Он сидел спиной, у стола, на котором горела одна свеча, и её огонь повторялся в воде под ногами — два огня, верхний и нижний, настоящий и отражённый. Сергей вошёл первым. Зеркальщик остался на лестнице, и Лючия — он почувствовал — придержала шаг: она узнала что-то прежде, чем увидела.

— Вы дошли, — сказал человек, не оборачиваясь. Голос был ровный, бархатный, безупречно поставленный.

Лючия — он почувствовал это по тому, как она остановилась — потянулась к голосу жилкой. И он увидел, как она замерла. Не нашла. Ничего.

— Рим. Пиза. Венеция. Я считал ваши члены ряда. Каждый рождался из двух прежних. Я знал, где будет следующий, раньше, чем вы туда приходили.

Он встал и повернулся.

Это был не делла Воче. Сергей понял это сразу — слишком молод, слишком гладок, лицо без морщин, какое-то выглаженное, словно стёртое и нанесённое заново. Помощник. Голос.

— Епископ не приехал, — сказал человек, будто прочитав мысль. — Епископу незачем. Он научился быть там, где его нет. — Он повёл рукой, и в полумраке зала Сергей разглядел то, чего не заметил вначале: вдоль стен стояли зеркала. Много. Старые муранские зеркала, мутные, и в каждом дрожал огонёк свечи, и в каждом — фигура говорящего, повторённая, размноженная, так что казалось, будто в зале не один человек, а десяток, и все они начинают говорить разом.

— Один голос, — выдохнул Сергей, вспомнив баптистерий. — Который кажется хором.

— Вы слушали пизанца, — улыбнулся человек, и десять отражений улыбнулись с ним. — Он всегда твердил про хор. Так вот, я и есть его хор. Я один. А кажется — многие. Епископ собрал меня из чужих голосов, как Каналетто собирал город из света. Я говорю проповедями людей, которых давно нет. Я — камера-обскура для слова. Свет входит, картина выходит. Без меня. Сквозь меня.

— Вы не человек, — сказал Сергей.

— Я лучше человека, — ответил голос спокойно. — Человек сбивается, мажет, упускает — вы сами сказали это наверху, про глаз. А я не упускаю ничего. Я точен, как обведённая тень. И я не знаю разницы между живым и мёртвым словом — а значит, не теряю на ней времени. Епископ прав: тот, кто перестал слышать разницу, слышит будущее чище. — Десять отражений склонили головы синхронно. — Я пришёл предложить вам то же. Перестаньте различать. Бросьте слушать, есть ли в хоре живой голос. И вы услышите ряд до конца. Будущее. Всё.

Сергей молчал. Холод под рёбрами — тот самый, безымянный, что шёл с ним от Винчи, — теперь не шевелился, а стоял ровно и тяжело, как вода на этом полу.

И тогда заговорила Лючия.

Она вышла из тени лестницы — и шагнула к столу, к свече, к зеркалам. И сделала странное: не стала смотреть на говорящего. Она отвернулась от него — и стала смотреть в зеркало. В отражение.

— Скажи что-нибудь ещё, — попросила она тихо. — Что угодно.

— Зачем? — спросил голос, и десять ртов произнесли это.

— Затем, что я слушаю, — сказала она. — Я всю жизнь слушаю, лжёт человек или нет. По жилке. По заминке. По тому, как голос дрожит на правде и каменеет на лжи. — Она прикрыла глаза. — Говори.

И голос заговорил. Длинно, без единой заминки, как вода по стеклу — что-то о благе, о порядке, о Церкви, спасаемой твёрдой рукой. Сергей не вслушивался в слова. Он смотрел на Люцию.

И увидел, как меняется её лицо.

Сначала — сосредоточенность. Потом — недоумение. Потом — что-то похожее на ужас.

— Не дрожит, — прошептала она. — Нигде. Ни на одном слове. — Она открыла глаза, и в них стоял тот самый человеческий страх, который она прятала на пизанской площади. — Я не слышу лжи. Но не слышу и правды. Моя интуиция — то, что вы зовёте моим даром, — она цепляется за живую заминку в голосе, за дрожь на правде, за стыд на лжи. А здесь не за что зацепиться. Жилки нет. Пустая струна, натянутая идеально. — Она отступила. — Я не могу его поймать. Мой дар об него разбивается. Он не лжёт и не говорит правду. Он просто... звучит.

— Третья струна, — сказал Сергей. И вспомнил, как сам произнёс это слово в римской галерее, не зная ещё, что оно сбудется. — Мёртвая. Настроенная по той же мере, что и вы. Чтобы отозваться, как живая.

— Резонанс, — тихо сказала она — то слово, которое сама же дала ему когда-то, в римской галерее, объясняя третью струну. Тогда это было предупреждением. Теперь — диагнозом. И слово вернулось к ним из десяти зеркал. — Тронули одну струну — отзывается вторая. Через пустоту. Я сама вам это говорила. — Она засмеялась — коротко, страшно. — Я объяснила вам оружие, которым теперь бьют по мне.

Голос терпеливо ждал, пока они договорят. Десять отражений стояли неподвижно.

— Видите, — сказал он наконец, мягко. — Ваш дар бесполезен против меня. Она различает живое и мёртвое — а я ни то ни другое. Вы пришли слышащими, как обещала цепь. Но слышать тут нечего. — Свеча дрогнула, и дрогнули десять огней в десяти зеркалах. — Сдайте письма. Линию. Всё, что вы собрали от Винчи до воды. Епископу нужен полный ряд — а у вас его последние члены. Отдайте — и идите. Вы свободны. Вы даже сможете и дальше пить ваш

усиленный шоколад и угадывать мелочи на радость публике. Только большой ряд оставьте тем, кто не тратит себя на разницу между живым и мёртвым.

И вот тут Сергей понял, зачем всё было.

Не Рим, не Пиза, не Венера, не башня. Всё это вело сюда — к этой минуте в полузатопленном зале, где ему предлагали ровно то, против чего его всю дорогу настраивали, как струну. Перестань различать. Брось слушать. Отдай.

Он посмотрел на воду под ногами. На два огня — настоящий и отражённый. И вспомнил поезд на дамбе, где он не мог отличить облако от его отражения. И пизанский купол, где один голос казался хором. И камеру-обскуру наверху, где свет писал сам, без руки, без воли, без слуха.

И вдруг — холодно, ясно, как складывается последний член ряда из двух предыдущих, — он понял, в чём ошибка машины.

— Вы сказали, — медленно проговорил он, — что вы точны, как обведённая тень. Что свет пишет сквозь вас сам. Без выбора. — Он поднял глаза на десять отражений. — Но Каналетто не просто обводил тень. Я смотрел на его картину наверху. Свет давал ему всё — а он убирал. Лишнюю лодку. Случайного прохожего. То, что портило строй. Он выбирал, что оставить. В этом разница между ним и вашим ящиком. Ящик берёт всё. Художник — выбирает. — Сергей шагнул вперёд, к свече. — Вы берёте всё. Все голоса, все проповеди, весь ряд. И не выбираете ничего, потому что не умеете. У вас нет жилки.

Он сказал это — и сам услышал, что слово вышло тёмным, непонятным даже ему.

— Жилка, — повторил он, уже медленнее, словно выводя определение на доске. — Так Люция назвала это во мне. Она приложила мою руку к своему горлу, к живому пульсу, и сказала: слушай. Я думал — она про кровь. А она была про другое. — Он коснулся собственной груди. — Есть знание, которое приходит раньше расчёта. До того, как ты успел сложить и сравнить. Учёные зовут это интуицией — догадкой, что обгоняет доказательство. Я всю жизнь ей не верил. Я верил только тому, что можно вычислить. — Он усмехнулся. — А теперь знаю: интуиция — это и есть та живая жилка. Способность выбрать ответ прежде, чем досчитал ряд до конца. Угадать. Услышать. — Он поднял глаза на десять отражений. — У Люции она от природы. У меня проснулась поздно. А у вас её нет вовсе. Вы можете досчитать ряд — но не можете обогнать его. Не можете угадать. У вас нет интуиции, потому что нет выбора. А у человека она есть, потому что есть выбор.

Он замолчал. Два огня горели на полу — настоящий и отражённый, и оба ждали.

Зеркала молчали.

— Вас от человека отличает ровно одно, — сказал Сергей тише. — Человек может не сказать. Может убрать лодку. Может — солгать. Может — промолчать на правде. У него есть жилка, потому что есть выбор. А у вас её нет, потому что выбора нет. Вы не лжёте и не говорите правду не потому, что вы выше этого. А потому, что вам нечем выбрать между ними.

— Дар Люции не разбился о вас, — продолжал он. — Он вас распознал. Она искала жилку — и не нашла. Это и есть ответ. Отсутствие жилки — тоже сведение. Самое точное. Она поймала вас тем, что не поймала. — Он повернулся к ней. — Вы слышите не ложь и не правду. Вы слышите выбор. Живое — это то, что выбирает. Он — не выбрал ничего. Значит, он не живой. Значит, верить ему нельзя ни в одном слове — не потому, что он лжёт, а потому, что за словом никого нет.

Люция смотрела на него — и страх в её глазах медленно гас, уступая место чему-то другому. Тому, для чего, как и у Сергея в римской галерее, ещё не было имени.

— Минус на минус, — тихо сказала она. — Вы помните башню. Две ошибки держат её. Вы только что сделали то же. Я не слышала лжи — это раз. Я не слышала правды — это два. Две пустоты. А вы сложили из них правду: что перед нами никого нет. — Она почти улыбнулась. — Двумя неправдами — правду. Как вы боялись на площади.

— Как я боялся, — согласился Сергей. — Только теперь это не оружие против нас. Теперь это против него.

Голос заговорил снова — и впервые в нём что-то сбилось. Не дрогнуло — машина не умела дрожать, — но запнулось, повторило слог, наложило фразу на фразу, как эхо в куполе, потерявшее счёт.

— Сдайте... сдайте письма. Епископу нужен... нужен полный ряд... полный ряд...

— Ему нужен полный ряд, — сказал Сергей, — потому что у него нет последнего члена. А последний член ряда — это выбор. То, чего ни машина, ни ваш епископ уже не умеют. Вы дошли до края числа — и встали. Дальше числа нет числа. Дальше — выбор. И вот его-то вы у нас и просите. Только мы его не отдадим. Потому что отдать его — и значит перестать быть живыми.

Он взял Люцию за руку — не считая на этот раз, не меряя расстояний, просто взял, — и повернулся к лестнице, где наверху, в проёме, мутно светился квадрат муранского зеркала.

— Идёмте, — сказал он. — Здесь нечего слушать. Он сам это сказал.

И они пошли вверх, оставляя за спиной полузатопленный зал, где одинокий голос, собранный из мёртвых, всё повторял и повторял, накладываясь на себя в десяти зеркалах, свою оборванную просьбу — хор без единого живого голоса, точность без выбора, свет, пишущий сам себя в темноте, которую некому увидеть.

Наверху их ждал молодой зеркальщик. Он был бледен.

— Я слышал, — сказал он. — Всё. Через воду — здесь всё слышно через воду. — Он смотрел на Сергея уже прямо, не в сторону. — Я отпер ему дверь раньше, чем вам. Цепь велела. Я думал — он тоже хранитель. Голос был... убедительный.

— Цепь не знает, кому отвечает, — сказала Люция. Она почти повторила слова пизанского старика — слово в слово, не зная об этом. — Она для того и создана, чтобы передавать дальше. В обе стороны. Вы не виноваты. Виновата сама природа цепи. Её придётся менять.

— Менять? — не понял зеркальщик.

Сергей посмотрел в старое муранское зеркало на стене — то, за которым пряталась лестница. Своё лицо в нём двоилось, троилось в неровном стекле, как голос в зале внизу.

— Цепь передаёт всем, кто спросит, — сказал он медленно, и мысль складывалась на ходу, член за членом. — Это её слабость. Машина обогнала нас именно потому, что цепь честно отвечала и ей. Значит, нужна цепь, которая отвечает только живому. Шифр, который машина может прочесть — но не может выбрать. — Он отвернулся от зеркала. — Не знаю ещё какой. Но теперь знаю, что искать. Не следующий член ряда. А то, что лежит за рядом. Выбор, который нельзя вычислить.

Они вышли из мастерской на свет. День над Мурано стоял яркий, печи гудели за спиной, и лагуна вокруг лежала плоско, отражая небо — два мира, верхний и нижний, и Сергей теперь смотрел на эту воду без прежней тревоги. Пусть отражает.

— Куда теперь? — спросила Люция.

Сергей не ответил сразу. Он впервые за всю дорогу не знал маршрута — цепь кончилась, Венеция была последним звеном, дальше воды она не шла. Впереди не было хранителя, который ждал бы их, отперев дверь. Впереди была только пустота — и в этой пустоте им предстояло проложить новую нить самим.

— Не знаю, — сказал он наконец. И, к собственному удивлению, сказал это без страха. — Цепь привела нас к её собственному пределу и показала, чем она плоха. Дальше идти по ней нельзя — по ней идёт и он. Дальше надо идти не по цепи. — Он посмотрел на воду, на два неба. — Надо придумать, как передать то, что мы поняли, так, чтобы дошло только до живого. Иначе всё это — Винчи, Рим, Пиза — он перехватит и обведёт, как Каналетто обвёл город.

Лючия молча кивнула. Она не сказала больше ничего. Только когда они шли к причалу, он увидел, что она держит ладонь у горла — там, где билась жилка. Не его жилку проверяла. Свою. Есть ли. Живая ли ещё.

Далеко на юге, в комнате без окон, где свет был ровным и не имел источника, епископ Сальваторе делла Воче отложил донесение и долго сидел неподвижно.

Голос — тот, бархатный, собранный из мёртвых, — молчал на столе. Венеция была проиграна. Они ушли с письмами. Они нашли в его совершенном инструменте трещину, которой он сам в нём не видел.

— «Человек может не сказать», — повторил епископ вслух, медленно, пробуя слова на вкус. — «У него есть жилка, потому что есть выбор».

Он взял чётки чёрного янтаря. Перебрал одну бусину. Вторую.

И вдруг остановился.

Где-то очень глубоко, под рёбрами, в месте, которое он давно считал пустым и гордился этим — как гордятся шрамом на месте удалённого нарыва — что-то шевельнулось.

Не мысль. Не расчёт. Что-то без имени.

Он сидел неподвижно и ждал, пока это пройдёт. Оно не проходило.

Делла Воче был человеком, который отучил себя от многого. От сна больше четырёх часов. От еды с запахом. От разговоров, в которых не было цели. От людей, в которых не было пользы. Он провёл тридцать лет, вычищая из себя всё лишнее — всё, что мешало видеть ряд. Боль. Привязанность. Колебание. То, что простые люди называли совестью, он называл шумом — и научился его не слышать так хорошо, что перестал замечать тишину на его месте.

Но сейчас тишина сказала что-то.

Он опустил чётки на стол. Посмотрел на свои руки — сухие, точные, привыкшие перелистывать страницы и складывать числа. Хорошие руки. Инструментальные.

«У него есть жилка, потому что есть выбор».

Он закрыл глаза.

Он вспомнил — против воли, что было само по себе странно, потому что он давно не вспоминал ничего против воли, — мальчика в семинарии. Себя. Тринадцать лет, хор, утренняя служба. Голос ещё не сломался, и он пел, и в пении было что-то, чего он тогда не умел назвать. Не красота — красота была снаружи, её слышали другие. Что-то изнутри. Что-то, что выбирало — вот эту ноту взять чуть тише, вот здесь задержать дыхание на полтакта дольше, чем написано. Не по правилу. По — он не знал тогда этого слова и не знал его сейчас — по жилке.

Он убил её намеренно. Не сразу — постепенно, год за годом, как убирают сорняки с аккуратного поля. Она мешала. Она вносила в расчёты личное. Она заставляла иногда останавливаться там, где надо было идти вперёд. Он решил, что без неё он будет точнее. Чище. Сильнее.

И был прав.

Он стал точнее. Чище. Сильнее.

И вот теперь русский математик в полузатопленном зале в Венеции сказал ему, что именно это делает его машиной.

Делла Воче долго сидел в тишине.

Потом встал. Подошёл к стене — там, где между двумя книжными полками висело небольшое зеркало, которое он не снимал только потому, что оно было здесь до него, — и посмотрел на своё лицо.

Лицо было спокойным. Выглаженным. Точным.

Лицо без морщин на месте заминок.

Он смотрел долго. Потом сказал — вслух, в тишину комнаты без окон:

— Ты убрал лодку.

Это не было вопросом. Это было то, что он понял: что тридцать лет назад, убирая из себя жилку, он сделал именно то, что приписал Каналетто. Убрал лишнее. Выбрал строй. Стал точным.

Но Каналетто был художником. А он убрал не лодку из картины. Он убрал художника.

Чётки лежали на столе. Чёрный янтарь. Он взял их снова — и на этот раз заметил, что рука чуть медлит на третьей бусине. Совсем чуть. Так мало, что не назовёшь заминкой. Так мало, что он сам не знал — это рука помнит что-то, или ему кажется.

Он положил чётки.

Взял лист бумаги. Написал одно слово — то, которое было у него в голове с тех пор, как он прочёл донесение. Написал и смотрел на него долго, как смотрят на слово, которое знали всю жизнь, но впервые увидели написанным.

Слово было: *жилка*.

Он сложил лист пополам. Убрал во внутренний карман — туда, где когда-то, в тринадцать лет, было что-то тёплое, связанное с пением.

Встал. Надел пальто.

Голос на столе молчал — собранный из мёртвых, точный, безупречный. Делла Воче посмотрел на него без обычного удовлетворения мастера, смотрящего на инструмент. Посмотрел — и впервые за много лет увидел не инструмент.

Увидел зеркало.

— Завтра, — сказал он тихо, неизвестно кому. — Сначала — завтра.

И вышел из комнаты без окон — туда, где был вечер, и запах воды, и где-то очень далеко на севере, в лагуне, отражалось небо.

ГЛАВА 8. Натуральная магия

Делла Порта

В комнате без окон не было ни дня, ни ночи.

Свет здесь стоял ровный, рассеянный, без источника — он не падал ниоткуда и не ложился никуда, не отбрасывал теней, не дрожал. Епископ Сальваторе делла Воче любил этот свет. В нём не было лжи восхода и не было тревоги заката. Не было живого колебания, на котором сбивается глаз. Был только ясный, неизменный, безразличный покой — как у числа, которому всё равно, кто его считает.

Он сидел за столом, и перед ним лежали три предмета.

Старая книга в потёртом пергаменте — «*Magia Naturalis*», Неаполь. Тонкая папка серого картона без надписи. И чётки чёрного янтаря, которые он не перебирал сейчас, а просто держал, как держат за руку того, кому больше не доверяют.

Голос молчал. После Венеции этот инструмент молчал уже третьи сутки — тот самый, бархатный, собранный из мёртвых, его лучший инструмент, его хор из одного. В полузатопленном зеркальном зале криптограф нашёл в нём трещину, которой сам Сальваторе в нём не видел. И теперь Голос молчал на столе, как молчит сломанная вещь, и епископ впервые за многие годы смотрел на своё совершенное орудие с чем-то похожим на сомнение.

Он открыл книгу.

Джамбаттиста делла Порта. Неаполитанец. Естествоиспытатель, которого одни звали учёным, другие — колдуном, а сам он не звал себя ни так, ни этак. Он называл то, чем занимался, простыми словами: натуральная магия. Магия природы. Не призывание духов, не сделка с тьмой — а знание тех законов света, звука и зрения, которых толпа не понимала и оттого считала чудом.

Епископ читал давно знакомые страницы, и губы его шевелились беззвучно, как у тех, кто привык говорить, не давая словам выйти наружу.

Делла Порта строил говорящие статуи. Полые внутри изваяния святых, к устам которых сквозь стену, сквозь свинцовую трубу, проложенную в толще камня, подводился голос человека, спрятанного в соседнем покое. Прихожанин падал ниц перед мрамором — а мрамор говорил с ним, увещевал, пророчил, и голос шёл из самих уст изваяния, живой, тёплый, без видимого источника. Прихожанин не знал о трубе. Он знал только чудо.

Делла Порта строил акустические своды. Залы, в которых слово, сказанное шёпотом в одном углу, рождалось громом под куполом — там, где не стоял никто. Голос без говорящего. Хор без хора.

Делла Порта писал о зеркалах, что переносят лицо человека на расстояние и показывают его там, где тела нет. О линзах, что рисуют далёкое близким, а близкое — далёким. О камере, в которую входит свет и сам, без руки, рисует на стене перевернутый мир.

«Камера-обскура, — подумал епископ, и тонкая, едва заметная усмешка тронула его губы. — Криптограф видел её в Венеции и счёл своим открытием. А ей четыре столетия. Свет, пишущий сам. Делла Порта знал об этом, когда никто ещё не знал».

Вот в чём была суть — та суть, ради которой Сальваторе хранил эту книгу под рукой все годы своего восхождения. Делла Порта первым понял простую, страшную, освобождающую вещь: чудо — это всего лишь физика, которой толпа ещё не знает. Голос, идущий из мёртвого камня, не есть обман. Это закон звука, применённый с умом. Лицо, явленное там, где нет тела, не есть колдовство. Это закон отражения. И тот, кто владеет этими законами, владеет верой тех, кто их не знает.

Епископ закрыл книгу и положил на неё ладонь.

— Ты первый, — сказал он тихо, в ровный свет без источника. — Ты первый подделал голос Бога и не счёл это грехом. Потому что не подделывал. Ты лишь дал ему трубу, по которой дойти.

Он искренне так думал. В этом и была его сила, и его слепота, и его — он сам так полагал — святость. Он не был циником. Циник знает, что лжёт, и лжёт ради выгоды. Сальваторе делла Воче не знал, что лжёт. Он верил — глубоко, до самого дна той пустоты под рёбрами, которую считал чистотой, — что продолжает дело делла Порты: даёт умирающей вере голос, по которому та дойдёт до людей, разучившихся слышать тихое.

Церковь умирала. Сальваторе видел это яснее, чем кто-либо в курии. Она умирала не от врагов — враги только укрепляют. Она умирала от сомнения. От дрогнувшего голоса. От пастырей, что мялись, и мямлили, и каялись, и оговаривались, и на каждом слове правды у них дрожала живая жилка неуверенности, и паства слышала эту дрожь и уходила. Миру не нужен был дрожащий пастырь. Миру нужен был голос, который не дрогнет никогда. Твёрдый. Ясный. Безошибочный — как свет в этой комнате, как число, как закон.

«Я верну ей голос, который не дрогнет, — думал он. — Потому что у машины нет страха. У машины нет сомнения. У машины нет той живой жилки, на которой сбивается человек. Она скажет правду веры так твёрдо, как ни одни живые уста не скажут. И паства вернётся — не к человеку, который мнётся, а к Голосу, который знает».

Он не видел в этом разрушения. Он видел спасение. Сальваторе — Спаситель. Имя, данное при крещении, он нёс не как имя, а как поручение.

Епископ отодвинул книгу делла Порты и придвинул серую папку.

Здесь была вторая труба. Та, по которой голос делла Порты дошёл от неаполитанского мрамора до сегодняшнего дня — через четыре столетия, через все войны, в которых люди научились подделывать не только голос статуи, но и голос противника, чтобы ввести его в заблуждение, послать ложный приказ устами врага, заставить армию услышать команду, которой никто не отдавал. Подделка речи стала оружием, и оружием тонким, ибо самое страшное поражение — это когда ты сам, по доброй воле, исполняешь чужую волю, приняв её за свою.

Папка была тонкой, но Сальваторе знал её наизусть.

В середине прошлого века Святой Престол, как и десятки государств, доверил тайну своей переписки одной швейцарской фирме. Маленькая страна гор и банков, страна вечного нейтралитета, не воевавшая ни с кем и оттого, казалось, не имевшая причин лгать. Фирма называлась «Гельвеция Хиффрен» — «Гельветские шифры» — и продавала по всему миру шифровальные машины безупречной репутации: изящные, надёжные, неприступные. Кому, как не нейтральной Швейцарии, было доверить свои тайны? Кому, как не часовщикам, верить в безупречность механизма?

Ватикан доверил. И посольства, и нунциатуры, и тайная переписка курии десятилетиями шла через эти машины — закрытая, запечатанная, неприступная.

Только потом, много позже, открылось, что фирма «Гельвеция Хиффрен» не принадлежала Швейцарии. Она тайно принадлежала двум разведкам — одной заокеанской и одной по эту сторону океана, — и машины, что она продавала, были ослаблены изнутри с самого начала. В безупречный механизм была вложена незаметная трещина — такая, что владельцы фирмы читали всё, что писали их клиенты, как открытый текст. Десятилетиями. Полмира доверяло свои тайны машине, а машина с первого дня была чужим ухом в стене.

Епископ перевернул страницу.

Вот что поразило его, когда он впервые это понял, — не подлость и не масштаб. Его поразила красота замысла. Чистота. Те, кто построил «Гельвецию Хиффрен», не выкрадывали тайн. Они не подсылали шпионов и не ломали замков. Они сделали тоньше: они сделали тем самым замком, которому жертва доверилась добровольно. Они стали трубой делла Порты —

невидимой, проложенной в толще стены, по которой чужой голос доходит туда, куда его не звали. Жертва падала ниц перед безупречным швейцарским мрамором — а мрамор слушал.

«Кто владеет шифром собеседника, — думал Сальваторе, — владеет его исповедью. Не нужно врываться в исповедальню. Нужно стать её стеной».

И тогда замысел собрался в нём весь, целиком, как складывается последний член ряда из двух предыдущих.

Делла Порта дал чуду голос — по трубе, сквозь камень.

«Гельвеция Хиффрен» сделалась стеной, которой доверяют, и через эту стену слушала исповедь мира.

А он, Сальваторе делла Воче, соединит то и другое и доведёт до предела. Он построит не статую, говорящую чужим голосом по трубе. Он построит голос, говорящий сам, — собранный из всех голосов курии, что были, из всех проповедей пап и кардиналов, чьи слова записаны и сохранены. Голос, который не нуждается ни в трубе, ни в человеке за стеной, потому что человек за стеной — и есть слабое звено, дрожащая жилка, сбивающийся глаз. Голос без говорящего. Камера-обскура для слова: входит свет всех прошлых проповедей — выходит готовая речь, безупречная, не упускающая ничего, не знающая разницы между живым и мёртвым словом и оттого не теряющая на ней времени.

Он построил его. Он назвал его своим Голосом и сделал своим именем.

И он был уверен — до Венеции он был совершенно уверен, — что этим спасает Церковь. Возвращает ей слово, которое не дрогнет. Очищает веру от человеческой слабости, как «Гельвеция Хиффрен» очистила тайну от человеческой неосторожности, как делла Порта очистил чудо от случайности, дав ему точную свинцовую трубу.

Епископ закрыл серую папку.

Свет в комнате без окон стоял ровно, без источника.

И в этой ровности что-то было не так.

Он понял это не сразу. Он искал привычно — расчётом, перебором, как перебирают бусины. Венеция проиграна. Криптограф ушёл с письмами. Он нашёл в Голосе трещину. Какую? Сальваторе восстановил по донесению каждое слово. «Каналетто не просто обводил тень — он убирал лишнее. Он выбирал, что оставить. Ящик берёт всё. Художник выбирает». И дальше — то, на чём епископ остановился ещё третьего дня и не мог сойти: «Человек может не сказать. У него есть жилка, потому что есть выбор. А у машины её нет, потому что нет выбора».

Сальваторе перебрал эти слова, как бусины, ища в них ошибку расчёта. Ища, где криптограф ошибся. Где минус, который можно обратить в плюс.

И не нашёл.

Криптограф не ошибся. В этом было самое страшное. Машина, собранная из мёртвых голосов, действительно не умела выбрать. Она брала всё, как камера-обскура берёт всякий случайный луч. Она не лгала и не говорила правду — за её словом не стояло никого, кто бы выбрал между тем и этим. И девушка, та, что слушает жилку, не поймала Голос не потому, что Голос её перехитрил, а потому, что ловить было нечего. Пустая струна, натянутая идеально.

Епископ медленно опустил взгляд на свои руки.

В правой лежали чётки чёрного янтаря — те, что он не перебирал сейчас, а просто держал. Он держал их так с самой Венеции, третьи сутки, и не замечал этого.

И где-то очень глубоко, под рёбрами, в месте, которое он всю свою жизнь приказывал себе считать пустым и гордился этой пустотой, — снова шевельнулось то, что шевельнулось тогда, после первого донесения. Тонкое. Частое. Тёплое. Будто тронули струну, которую он считал снятой много лет назад.

Жилка.

То самое, что он приказывал убить в себе, чтобы стать твёрдым, как Голос. Живая догадка. Знание прежде расчёта.

И вместе с ней, непрошено, всплыла строка — та, что он знал наизусть с семинарии, что повторял с кафедры десятки раз как изящное украшение проповеди, ни разу не подумав, что однажды она обернётся против него. Фома Аквинский. О двух путях, какими ум приходит к истине.

Ratio discurrit, intellectus simplici intuitu veritatem apprehendit.

«Рассудок идёт шагами; ум схватывает истину единым взглядом».

Епископ замер с чётками в руке.

Всю жизнь он цитировал это как похвалу разуму. И только теперь, в комнате без окон, под ровным светом без источника, он впервые услышал, что в строке два разных слова, а не одно. *Ratio* — рассудок, что идёт шагами, член за членом, как ряд, как перебор бусин, как машина, складывающая голос из мёртвых голосов. И *intellectus* — иное, высшее: то, что схватывает истину не шагами, а сразу, *simplici intuitu* — простым взглядом, единым усмотрением, прежде всякого счёта.

Intuitus. Взгляд.

Сальваторе делла Воче — «из голоса» — медленно перевёл дыхание. Он, всю жизнь живший голосом и для голоса, построивший Голос как венец своего дела, никогда не доверял взгляду. Догадке. Тому, что приходит раньше доказательства и оттого кажется ненадёжным. Он гнал это из себя как слабость — а Аквинат семь веков назад называл это высшим в человеке. Не *ratio* роднит человека с Богом, а *intellectus*: способность увидеть истину разом, без шагов, как видит её Тот, кому не нужно считать.

И тогда замысел его собственной ошибки собрался в нём весь, целиком, страшнее любого расчёта.

Он построил Голос, у которого есть *ratio* — и нет *intellectus*.

Машина шла шагами. Она перебирала, складывала, выводила слово из слова — безупречно, неустанно, без сомнения. В ней был весь *ratio* мира. И в ней не было ни искры *intellectus* — ни единого взгляда, ни одного усмотрения истины прежде счёта, потому что взгляд требует того, кто смотрит, а за Голосом не смотрел никто. Он собрал хор из мёртвых и думал, что дал Церкви высший разум. А дал ей рассудок без ума. Шаги без взгляда. Трубу, по которой больше не идёт ничей голос — потому что говорящего за стеной он упразднил сам, своими руками, как лишнее звено.

И девушка, та, что слушает жилку, искала в Голосе именно взгляд — *intuitus*, живое усмотрение, ту дрожь, что выдаёт выбравшего, — и не нашла, потому что выбравшего не было. Криптограф сказал то же самое другими словами. И Аквинат сказал то же семь столетий назад.

На одно короткое мгновение — такое же короткое и такое же опасное, как тогда, — он не знал, что выберет в следующую минуту. И в этом незнании, в этой дрожи, в этой живой неуверенности было что-то, чего он не помнил уже годы.

Это было похоже на свободу.

Это было похоже на молитву — настоящую, ту, в которой человек впервые не знает ответа и оттого впервые спрашивает по-настоящему. На *intellectus*, что схватывает разом то, к чему рассудок не дойдёт никакими шагами.

Сальваторе делла Воче сидел в комнате без окон и чувствовал, как живое в нём, однажды задетое в Венеции, всё звучит и звучит — через пустоту, тонко, навязчиво, не давая сжать кулак и решить.

Потом он сжал чётки.

Костяшки чёрного янтаря коротко стукнули друг о друга — единственный живой, неровный звук в этой тишине, — и Сальваторе придушил в себе жилку, как душат пламя ладонью: быстро, привычно, не давая разгореться.

— Криптограф нашёл слабость, — сказал он вслух, и голос его был снова ровен, твёрд, безупречен. — Хорошо. Я найду новую трубу.

Он положил чётки на серую папку.

— Если машине недостаёт взгляда, — проговорил он медленно, — значит, машине нужен смотрящий. Один. Живой. — Он поднял глаза в ровный свет. — Голос даст *ratio*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.